

Сергей Бакушев

С Е Р Г Е Й **ВАСИЛЬЕВ**

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

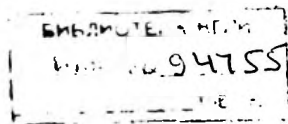
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1966

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОЭМЫ



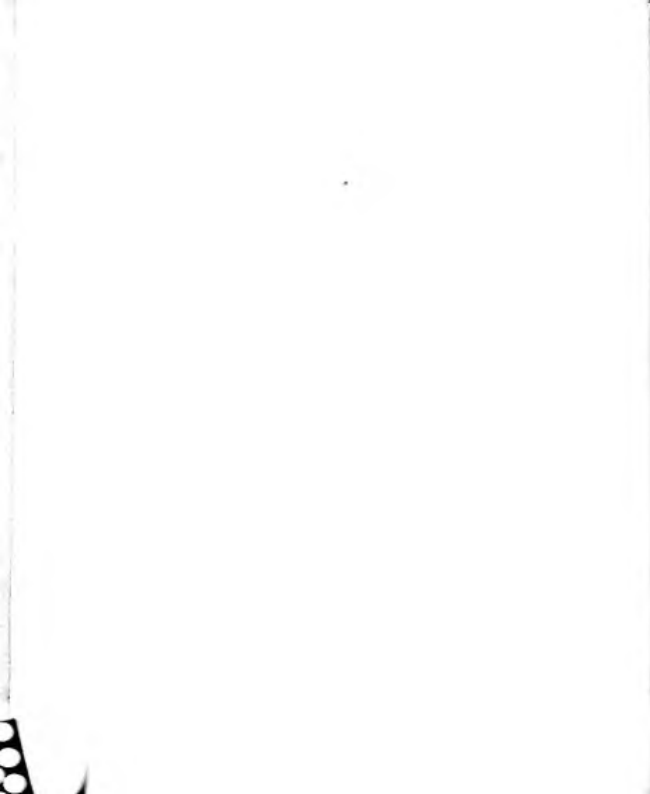
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1966

P2
819

Оформление художника
С. ТОМИЛИНА

7-4-2
60-66

ПОЭМЫ



АННА ДЕНИСОВНА

Сядь, Денисовна, посиди со мной,
сердцем песню уважь мою,
посиди со мной, Анна Денисовна,
слушай, что я тебе спю.

1

Может, капля того мне ведома,
как пошла о тебе молва,
под какими большими бедами
поседела твоя голова.

Но и в капле — для песни козыри,
если песенник к ним готов!

...Я, как в самом глубоком озере,
вижу тень твоих годов.

Если взять эти самые годы,
год за годом поставить в ряд,
то при шуме любой погоды
эти годы заговорят!

Если взять твою жизнь с порога
до последних ее следов,
то по горьким, как дым, дорогам
встанут восемьдесят годов!

Сколько тяжких снопов повязано,
сколько скошено трав-отав,
сколько стерплено, да не сказано,
сколько сказано, да не так.

Сколько радостного загублено,
сколько высыпано на дно.
Сколько люблено-недолюблено,
сколько вымолвить не дано.
Если взять воедино слезы,
что тебе довелось пролить,
то не вьюгам и не морозам
слез горячих не остудить!
...Ты стоишь. На морщины-полосы
густо падает седина.
Но не скорбью про белы волосы
эта песня напоена.
Разве только причина — волосы?
Песня падает с высоты,
потому что в ней просят голоса
сотни тысяч таких, как ты!
Те, что были нуждой терзаемы,
подъяремными век прошли,
люди — пленники помыкаемой,
вечно страждущей земли,
люди, тертые перед праздником
замусоленным рушником,
люди, согнутые урядником,
люди, битые батогами.

...За оградой погода-непогода,
как волчица зовет волчат...
Я бы смолк, коли так, но мне поди,
даже смолкнув, не умолчать!
Сядь, Денисовна, посиди со мной,
сердцем песню уважь мою,
посиди со мной, Анна Денисовна,
слушай, что я тебе спою.

Я не стану тебя описывать
 молодые твои года.
 Пусть из песни, Анна Денисовна,
 их уносит быстро вода.
 Песня-птица летит по времени,
 не сдержат ее все равно.
 Помнишь, ты, напослед беременна,
 шла по вечеру на гумно?
 Шла и слышала, как немилостно
 маята в поясу взяла.
 Шла — и ахнула. И опустилася
 на солому. И... родила.

...Рдели звезды. Шумела жимолость.
 И не слышали тополя,
 как твоими слезами вымылась
 истомившаяся земля.
 И не ведала ты, Денисовна,
 что на самом краю села
 в тот же день у попа Анисима
 попадья в тот же час родила,
 что сказала ей бабка-знахарка:
 «Любо, первенец не орал...
 Будет он не большой, не махонький —
 обязательно генерал!»

...Рдели звезды. Шумела жимолость.
 Теплый вечер качал бадю.
 И святою водою вымыли
 эту самую попадью.

И лежала она и попала
клюкву с медом четыре дня,
и людей, проходивших около,
гнали с криками от плетня.
Ты же баба была проворная:
на оправя еще стопы,
в тот же вечер руками черными
домолачивала снопы!

Так вошли не одной походкой
в мир, раскрытый до самых звезд,
два ровесника, однокласска,
два питомца из разных гнезд.

...Где бы ни был ты:
в хате, в доме ли,—
детство ходит тропой цветной.
Однокласски перезнакомились —
и друг другу как брат родной.
И смеялись, и резвились,
и бросались в водоем.
И, не зная того, сдружились,
и ходили всегда вдвоем.
Но как только забавы кончились,—
слова лишнего не говоря,
Павла отдали в коногонщики,
Иннокентия — в писаря.
И не стал Иннокентий кланяться
и добром помянуть не стал.
И ни в среду и ни в пятницу
руку Павлу не подавал.

И когда наконец догнал-таки
их солдатчины серый вал,
Павла взяли, угнали в Балтику,
Иннокентий же откуп дал.

...Сколько связано-не развязано,
сколько сгублено за пятак.
Сколько стерплено, да не сказано,
сколько сказано, да не так.

3

Нету сына. Томит бессонница.
Горько плачет о сыне мать.
То ли за морем он хоронится,
то ли брошен в острог опять.
Может, многое он не выказал...
Только вышло, как захотел.
До родимого Новозыбкова
грохот дел его долетел!
Через благовест многих праздников,
через омуты всех тягот,
через головы всех урядников
долетел знаменитый год.
Зори дрогнули у околицы,
и без меры и без числа
быль-река, завиваясь кольцами,
вести буйные понесла.
Плыли трупы, да чайки плакали,
да туманы шли от низин...
...Как-то осенью с гайдамаками
воротился поповский сын.

Воротился — к тебе пожаловал,
только в горницу не вошел.
Встал у тына, локтем прижал его
и такой разговор повел:
«Время терпит. Небось не ночь еще...
Так что, бабка, ты не юли:
кто из красных стоял в урочище
и куда и зачем ушли?
Все о сыне печешься, старая!
Хоть и друг он мне в детстве был,
я бы Пашку твою, чубарого,
на капусту бы порубил!
Что ж молчишь? Аль отпета заживо?
Видишь: гости не при тепле,
надо потчевать да ухаживать,
а не быть как сова в дупле!..»
«Что ж,— сказала ты,— коль задунуло,
просим гостя под образа...—
И ты гордому гостю... плюнула
в голубые его глаза.—
Нет, ублюдок, я знала смолоду —
бог о стати твоей наврал,—
и не ты, а мой Пашка-золото
красный в Питере генерал!..»
И ударило что-то в голову
и упало, как медь, ко дну.
Через двор, через лужи волоком
притащили тебя к гумну.
И, зеленую от удушья,
на току, между двух колов,
повалили тебя и обрушили
сорок воющих шомполов!

Рдели звезды. Шумела жимолость.
И не видели тополя,
как обильною кровью вымылась
истомившаяся земля.

4

Если взять боевые годы,
год за годом поставить в ряд,
то при шуме любой погоды
эти годы заговорят.
Как поверить тому, Денисовна,
что и гром позади, и дым?
Кто поверит тому, Денисовна,
что мы вместе с тобой сидим?
Что по новому Новозыбкову
песни ходят, как корабли,
и над хатою, как над зыбкою,
тополь листьями шевелит?
И колхоз твой в округе славится
вешней силою зеленой,
и расти ему,
и цвести ему,
как черемухе по весне!
Как поверить тому, что в горнице,
освещенной косым огнем,
стол стоит? И, как злая конница,
пять граненых стоят на нем?!
«Что ж, подыдем!»
С широкой скатерти
подымаю стакан вина

и за полное счастье матери
выпиваю его до дна.
Я хмелею за здоровье сына,
что прошел сквозь жару и лед
от Кронштадта до Украины,
от Днепра до восточных вод!
За горячие переправы
не воспетых еще боев,
за не гаснущие от славы
пять сверкающих орденов!
За приплоды садов заречных,
за широкий разгон борозд,
за сиянье пятиконечных
неусыпных и мудрых звезд.

ВЫДРА

1

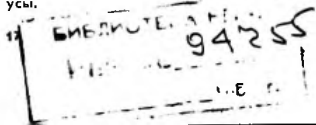
Жил да был на свете Ванька Выдра.
Кличку эту сам себе он выбрал.
Был на вид он неказистым,
но зато по части свиста
мастером немалым Выдра был.
Подмигнет, бывало, Ванька левым глазом,
сложит губы, будто ум зашел за разум,—
да как вражет тонким свистом,
перебористым да чистым,—
вроде инструмента запоем!
...Помнил Выдра, помнил Выдра Ванька:
на войне погиб его папанык,
а маманык за корытом,
за хозяйским, в землю врытом,
как стирала — так и померла...
И остался Ванька маленьким и сирым
и на Сретенку, хоть боязно и сыро,
вышел Ванька, встал к витрине:
«Может, кто чего подкинет?..»
Но подкидывать никто не захотел...
Целый день шатался он задаром
по парадным, по бульварам, по базарам.

Только странно: тети, дяди
плыли улицей, не глядя
на огромную на Ванькину беду...
В первый раз тогда, не выказав и виду,
затаил в себе он крепкую обиду
и в обнимку сам с собою
да еще с худой судьбою
на Савеловском всю ночь прокоротал.
Утро было удивительно погоже:
на глаза на мамкины похоже.
Только странно: с медной бляхой
на расстегнутой рубаше
выгнал Ваньку грубый человек...
...От «Смоляги» через «Кудринку» на «Сушку»
на «Букашке» на подножке вкалывал Ванюшка;
брало зло, урчало в брюхе,
перелез со зла на буфер
и на буфере доехал до Тверской.
...Шла чернявая гражданочка на службу.
Был на ней горжетишко и плюш был,
а под мышкой у гражданки
белобрый, долгожданный,
как котенок, прижался ридикюль.
Выдра вровень был с гражданочкой бровастой,
поклонился, улыбнулся, дескать, «здрасьте!»,
а потом — как хват с разлету
и понес босым наметом
по широкой по хорошей мостовой.
Далеко уже гражданочка осталась —
ох, и плакала небось и убивалась,
но не важно то, что важно, —
важно то, что есть бумажно,
важно то, что в этот день был Ванька сыт!

И так он зажил при любой дурной погодке:
день на рынке, ночь на «сковородке».
Может, это и не сладко,
может, это и не гладко,
но засыпался он как-то (в первый раз!).
...Был начальник отделения веселым —
назывался он товарищ Новоселов.
Подошел к нему вплотную.
и спросил: — Ну как, блатуешь?
Здорово живется, говоришь?

2

Непонятно как-то было:
пошептались, отошли...
То ли рыло было мило,
то ли в списках не нашли?
Даже как-то страшно было:
одному из всей шпаны
дали Выдре в руки мыло,
дали новые штаны.
И умылся Ванька с мылом,
и настолько стал хорош,
до того пригож да милый —
на легавого похож.
Сам начальник отделения,
сам товарищ Новосел,
ширмачам на удивленье,
с Выдрой чай пить сел за стол:
не стесняйся, дескать, кушай,
плюнь, что хлеб без колбасы...
Сам, как в чайник, смотрит в душу,
улыбается в усы.



Ванька вел себя тихонько,
 но потом, вошедши в тон,
 помаленьку, полегоньку,
 не спеша умял батон.
 За второй принялся было,
 но случился перебой:
 — Вас, я вижу, к нам прибило,
 уважаемый, впервой?
 А не скажете ли, мистер,
 вам которой год шагнул? —
 Выдра встал, собрался быстро
 и такую вещь загнул:
 — Я-льта С ТО-льта БО-льта Ю-льта
 НЕ-льта БУ-льта ДУ-льта СКРЫТ,
 Я-льта СО-льта БО-льта Ю-льта
 ДО-льта ВО-льта ЛЕН И СЫТ.
 НО-льта НА-льта СЧЕТ КАБА-льта
 ЛЫ-льта НИ-льта ГУ-льта ГУ...
 ВСЕ-льта РА-льта ВНО-льта Я-льта
 ОТ ВАС У-льта БЕ-льта ГУ! —
 ...Был товарищ Новосел
 и понятлив и весел,
 был другим он не чета —
 но не понял ни черта.
 Думал, думал и на том
 он решил, что в детский дом,
 в контросекцию труда
 надо Выдру передать.
 Как подумал, так и сделал:
 прикрепил путевку к делу,

¹ Я с тобою ни буду скрыт,
 я собою доволен и сыт.
 Но насчет набалы — ни гу-гу...
 все равно я от вас убегу.

и примерно через час
Ваньке отдан был приказ
собираться в путь-дорогу,
в путь-дорогу не к острогу,
в путь-дорогу, где не зря
занимается заря,—
где с восходом, спозаранку,
руки тянутся к рубанку,
где, березово-легки,
так и ходят верстаки,
где девочки, где ребята,
будто в мае петухи,
вместо свиста, вместо блата,
наизусть трубят стихи.
На прощание начальник
Выдре трёшку подарил
и любовно и печально,
тихо так заговорил:
— Вижу, парень, ты с талантом,
может, будешь музыкантом,
может, будешь ты потом
знаменитым свистуном,
может... впрочем, все быть может!
Только помни, длинный шкет,
что тебе тринадцать лет,
что всего тебе дороже
должен быть не этот мир:
из жаргона, зла и дыр,
где ты ходишь — слезку чуешь,
где ты бродишь и воруешь,
где потом не задарма
раскрывает пасть тюрьма.

Ты гляди на вещи шире:
двигай разумом смелей.
Ты живешь в счастливом мире,
на заботливой земле.
В этом мире все иначе,
даже звездам дело есть,
а таким, как ты, горячим
дела этого не счесть.
В этом мире беспричинно
горя, парень, не найдешь.—
...Выдра выслушал и чинно
с провожатым вышел в дождь.
Вышел. Глянул. И заныло
сердце Ванькино в груди:
легковая проскочила
с фонарями впереди...
Ой, как хочется с размаха
прыгнуть в эту злую прыть —
тискать, рыскать, охать, ахать,
петь, свистеть и материть!
Выдра даже захлебнулся,
в ноздри холоду набрал,
оглянулся, улыбнулся,
шкеры выше подобрал —
да как ринул за пролетку
и понес босым наметом
по широкой по хорошей мостовой.
Лужи — мимо! Люди — мимо! Мимо!
Мимо. Мимо. Мимо. Мимо. Мимо.
Выдра прет неутомимо,
легче ветра, легче дыма,
провожатого оставля позади!

В Москве такие есть притихшие места,
 что даже трудно их представить,
 и не в Бутырках где-нибудь, не у заставы,
 а где-нибудь у бывшего у храма у Христа.
 К примеру, взять Лебяжий переулочек:
 в нем дни, как в численнике, шелестят.
 В нем, словно двести лет назад,
 советский полдень в дрему перегнуло.
 Зеленый с мезонином дом. Его стена
 готова рухнуть, жизнь свою растрескав.
 И, силясь вырваться, из тесного окна
 порхает в полдень занавеска.
 Окно открыто в первом этаже.
 И Выдра видит это. Он уже
 нацелился на белое порхание —
 вот только дворник заметет свой след,
 и дело выйдет как по расписанию:
 четыре с боку — ваших нет!
 Уходит дворник. Если глянуть за дом —
 нет ни души. На цыпочки вставая,
 Ванюшка шарит по окошку взглядом,
 дрожит, вытягиваясь, как глиста,
 и, подтянувшись к косяку до подбородка,
 хватает занавеску за середку
 и тянет вниз. Но в этот самый миг
 в Лебяжий вкатывает грузовик!
 Он до отказа, до бортов, набит
 горластым грузом пионеров.
 Они поют! Один из них трубит
 в сигнальный рог! И, все-таки не веря
 (проулочек узок — как ни говори),

шофер сигналил грушею-резиной
и застопоривает — черт его дерит —
напротив дома с мезонином.
Момент упущен. Взять нельзя.
Окошко на виду. «Заметят сразу, гады».
И хочется и колется. Обочиной скользя,
отпрянул Выдра от окошка задом.
И встал к забору. Прерывая шой,
ребята вылезли из кузова наружу,
в одну шеренгу встав на мостовой.
И, тишину внезапную нарушив,
сказал тогда старшой из них: — Итак,
бригада Ганушкина лезет на чердак,
бригада Липкина идет в квартиру Бритта
и забирает то, что припасли там.
А я и Костя Калачев
идем к домкому за ключом.—
Сначала Выдра ничего не понял:
«Какой домком? Зачем их ляд припер?»
Когда ж ребята, гвалтом переполнив
притихший полдень, ринулись во двор
и все, гуртом, через одну минуту
вернулись вновь по старому маршруту,
таща в корзинах вороха старья,—
понятно стало: это был субботник,
субботник — сбор утильсырья.
До всяческой работы неохотник,
он сел на тумбу и зевнул слегка:
валяйте дуйте, мол,
а мы вздохнем пока!..
И было бы, конечно, все возможно —
и люди скрылись бы, и занавеску б Выдра взял,
все это было бы, но только, как нарочно,

случился, так сказать, скандал: тот самый ключ, которым отпирали чердачный ход,— в правление потеряли... Но за железом можно было лезть пожарной лестницей. Большая честь, конечно, быть «багдадским вором», при всем отряде на седьмой этаж сигнуть по лестнице, ступеньки у которой тонки, как пруты. Завидно аж!..

«Ну, что бояться? Да притом, ребята, старшой с домкомом скрылись куда-то!.. Мальчишки бросились наперебой к пожарке. И самый длинный, Пересветов Ярка, полез, хвастливо выкрикнув: — Гляди! — Он миновал уже три четверти пути, как вдруг заметил, что последние ступеньки все были сломаны. Передохнув маленько, он съежился, вздохнул тревожно, с боязнью глянул вниз и осторожно нажал обратно...

— Экая квашня! — кричали снизу.

— Экая верзила!

— Вот если б я полез!..

— Вот если б я...—

За Яркой следовал Вадим Брусилов. Он самым расторопистым считался. Он с великой гордостью нес кличку «Пинкертон». Он крикнул Ярке: — Бомба из картона! — А сам до полпути допинкертонил, и слава рухнула. За ним, спирая дых, Абрашка Ройзман пробовал, Остап Седых, но дело лопалось: отряд гудел и злился. Никто в герои явно не годился...

А Выдра? Он не вытерпел и свистнул,
схватился за живот и прыснул:

— Эх вы, галоши,

Куча кляч!..

— А ты-то что хохочешь?

— Ишь ловкач!

— Взгляните только, робя,
на эту спесь!..

— Чем хвастаться, попробуй,
попробуй — влезь!

— Да где ему, куда ему,
кабы да кабы.

— Таких хвальбушек знаем мы, сирень до губы!

— Мне слабо? Ей-бо, на любой не слабо!..

Сплюнул в ладоши, растер,
подскочил к пожарке...

(Он востер, осетер,
даже небу жарко.)

И, как кошка, без отдышек,—

нету слов, не передашь —

выше, выше, выше, выше,

вот уже седьмой этаж!

Крыша — гладкая, как площадь,

ноги — в желобе. Ура!

Флагом стеганка ползает,

а портки как флюгера!

А внизу? Внизу, от счастья,

двадцать душ стоят, зардев,

там внизу раскрылись настееж

двадцать трепетных сердец.

Там внизу за валом вал —

гром восторженных похвал!

Где железо? Вот железо.
Так лети, железо, вниз,
как летела пустотела
вниз моя поганка жизни!
Ну, пошел, пошел, пошел —
ах, как это хорошо,
что внизу, гудя, трубы,
дожидаются тебя...
И спускался Выдра вниз,
и кричали Выдра: «Бис!..»
И два раза, два подряд,
Выдру вскидывал отряд
на упругих на руках,
на высоких голосах,
выше крыши, я ручаюсь,
выше всех былых обид,—
Выдра отроду не чаял
круговой такой любви.
И когда, как медь, сияя,
подошел к нему старшой
и когда сказал он: — Знаешь,
это очень хорошо,
хорошо, что мы с тобою,
хорошо, что с нами ты,
хорошо, что взяты с бою
эти ржавые листы.
Пыль вздымая, в «Мосутиль»
их свезет автомобиль.
Только, знаешь, наш отряд
нынче будет в лагерях.
Лишних слов не говоря,
ведем с нами в лагерь?!!

ГРАНИЦА

1

Талый запах. Невидимый дым от воды.
На тяжелом снегу посиневшие волчьи следы.
Полый месяц. Продрогшая за ночь сосна.
Пограничники знали, что это крадется весна.
И весну пропускали. К заставам ночей голубых
весна высылала своих молодцов — вестовых,
и, храня первопутки весенней красоты,
становились подснежники на часы.
Полуденное солнце все гуще роняло лучи.
Как черные письма, над лесом летели грачи.
Стало рано светать. Стало поздно темнеть.
На проталинах стала трава зеленеть.
И сверкала за дальним откосом река,
как студеная грань у штыка.

2

Был апрель. Огибая глубокую падь,
раздвигая орешник, уже на рассвете
по стеге, по которой не плыть, не ступать,
мы прошли над рекой и укрылись в секрете.

Мы лежали молчком. Два бойца. Два винта.
И четыре ноги. И четыре обуви.
Третий босый и преданный нам до хвоста,
знаменитый, прославленный пес Незабудко.
Целых полчаса слова не молвили мы.
Тишина на границе. Ни хруста, ни звука.
Но мы знали, что в этом кольце полутьмы
только лихо живет, как прямая порука,
только бродит по кочкам болотный огонь,
преют лни да гниют прошлогодние травы.
Так лежали мы, сжав на затворе ладонь,
в четырех километрах от нашей заставы.
А вокруг все редела и рушилась мгла,
налагая на землю оковы запрета.
И казалось, какая бы нечисть могла
посагнуть на могучую силу рассвета!
Много хитрости разной в лесах рубежа...
Я сказал Фомину:
— Полежим да побачим...—
Незабудко рванулся и замер, дрожа,
словно искры метнулись по жилам собачьим.
Что почувствовал он в этой глухой тишине?
Незабудко трясло, выгибалось от злости,
мы едва удержали его на ремне.
Пес умел понимать: если «гости», так «гости».
Я шепнул Алексею:
— Ты видишь?
— А ты? —
И Фомин обернулся. Зрачки как застыли.
— А видал ты когда-нибудь, чтобы кусты
мимо людей на прогулку ходили? —
Я глянул направо. И впрямь: от реки,
качаясь, таща корневища кривые,

пять лохматых кустов поднялись на дыбки
и пошли по прямой, словно звери живые.
Передвинутся, встанут — и снова в поход,
будто ветер сдувает их с гладкого наста.
— Что ж,— решили мы,— встретим господ,
встреча давно подготовлена. Баста! —
Сказано — сделано. Ум — наперед,
с бухты-барахты не бросились в бой мы:
Алексей с Незабудко пополз на обход,
я залег, приготовя четыре обоймы.
Расстрелять нарушителей было легко —
мы немедля нашли бы управу над ними.
Но задача была не легка далеко —
нарушителей взять мы решили живыми.
Подпустив на каких-нибудь двадцать шагов,
я им крикнул:
— Сдавайся! Оружие бросить! —
Сам лежу за пеньком и гляжу на врагов —
поднялись, а руки ни один не заносит.
«Ну уж, думаю, маху теперь я не дам,
наши снайперы пуль не теряют!»
И давай их «под корень считать» — по ногам.
Спотыкаются... падают, но удирают!
И тогда Алексей Незабудко спустил.
Раздирая когтями замшелую гущу
полувольчих кровей, полубешеных сил,
Незабудко, как буря, упал на бегущих.
Он швырял себя в темную силу врага:
повалив одного, налетал на другого;
у него будто выросли сразу рога,
и спасенья врагам не нашлось никакого...
Четырех мы скрутили уже на лугу.
Незабудко — за пятым, который без шляпы.

И, догнав, вдруг завыл, изогнулся в дугу,
рухнул наземь и вытянул лапы.
Тут за пятым вдогонку пошел Алексей
через рыжие мхи, через мокрые чащи.
— Да сдавайся ты, дура! —
все чаще и чаще,
задыхаясь от бега, кричал Алексей.
Он настиг беглеца у запретной межи,
он успел ему крикнуть еще раз:
— Лежи!
Не желаешь?
Так на ж тебе в шею воловью! —
Захлебнувшись своею же собственной кровью,
нарушитель с трудом обернулся назад,
обернулся и... выстрелил, гад, наугад!
Алексей зашатался. Под левым плечом
что-то свистнуло, вышло насквозь и пропало.
И намыслимо было понять ничем —
то ли сам он упал, то ли небо упало.

3

Мы несли Алексея в открытом гробу.
Первый гром разорвался над тихой заставой.
Первой каплей весна раскололась на лбу.
Алексей недвижимый лежал, величавый.
Мы не слышали тяжести тела его.
Десять рук подпирали дубовое днище.
Как бессмертье его, как его торжество,
цвета крови над ним вознеслось полотнище.
И ударили трубы. И где-то вдали
взмыла молния белой каймой полукружья.

Командиры несли, пионеры несли
на сафьяне его боевое оружие.
Кто-то всхлипнул. И сразу угас, замолчал.
Телеграфные струны качнулись от ветра.
И припомнилось, что Алексей получал
из Воронежа письма в зеленых конвертах,
что читал он те письма на десять ладов,
наизусть их заучивал, гладил щекою,
и ответы писал по двенадцать листов,
и закладывал каждый из них резедою.
Так и шли мы, горячие, полные сил,
и безмолвно клялись, что его не забудем
и как можно скорей то, что он не дожил,
доживем за него, дострадаем, долюбим!
Хлынул дождь. Он пошел по полям, стороной,
по озимым хлебам, над колхозным привольем,
разбиваясь о крыши, свисая по кольям,
плодоносный, весенний, косой, проливной!

РАССКАЗ О РАЗРУШЕННОЙ ПОЭМЕ

Человек умирал. У студеной весенней реки
отцветала черемуха. Падала долгая мгла.
Человек умирал. По тяжелому стеблю руки
беспокойная влага, уже остывшая, текла.

И казалось ему, что он занял собой полземли,
что над ним пролетает, крылами гремя, саранча,
саранчу настигают, тоскливо крича, журавли
и садятся на отдых немного пониже плеча.

Никого. Только, слезы в ресницах тая,
у его изголовья, немного склонившись над ним,
только я, только автор поэмы стоял,
в неотступной тревоге склоняясь над героем своим.

Человек умирал в середине поэмы моей.
И я чувствовал: в этом моя же прямая вина.
Это выдумал я, чтоб оставить его без друзей
и чтоб парень, по замыслу, где-то погиб от вина.

Это правда: герой мой в поэму пришел
с земляным и опухшим от водки лицом,

но я помню, и помню притом хорошо,
что он не был врагом или подлецом.

Он, не видевший детства, судьбу принимал нараспах,
и не считаны были беспутья потерянных лет,
и бездомная жизнь зарубила на тонких губах
невеселой улыбки полынный, безрадостный след.

И мне просто казалось: попробуй его обнови,
если парень к работе, к любви и к желаниям нем!
Но я лгал на него, ибо труд и начало любви
в наше время стоят за пределами глупых поэм.

Человек умирал по вине моего ремесла.
Я не создал опоры. Оставил его без причал...
И еще бы один незначительный выброс весла...
Но я вовремя вздрогнул и, силясь молчать, закричал:

— В первых главах, бедняга, пропиты тобой сапоги?
Я верну их тебе! Обувайся. Рубаху надень.
Хлопни дверью и, сколько есть духу, беги
от бессмысленной смерти в развернутый заново день.

И живи! Мир наполнен цветением грозных чудес,
плодоносное чрево для нас раскрывает земля,
и над светлой Москвой, отрываясь от кромок небес,
самоцветные звезды садятся на башни Кремля.

Над Кремлем нависают высокие нити дождей,
но не клонится вымпел, подверженный дальним ветрам,
но не знают остуды горячие мысли вождей,
и летят из Кремля косяки боевых телеграмм.

В телеграммах указано: как усмирять пльвуны,
как воздвигать над безумной быстринной мосты,
как воспитывать первых героев страны
из таких вот бывалых, отпетых и горьких, как ты!

Время будет идти. Время будет воспитывать нас.
Может, год, может, два, может, три, может, пять.
И я верю, в случайно назначенный час
мы увидимся в новой поэме опять.

В журавлиную пору. В любимом моем сентябре.
В пору яблос, и меда, и медленных рыб у плотин
будет позднее солнце привязано на серебре
бесконечных и тонких и очень тугих паутинах.

Ты в поэму войдешь, пустоцвет осыпая плечом.
Спросишь автора: «Вы на каком этаже?»
Вероятно, ты будешь уже неплохим скрипачом
или, может быть, аэроавтом уже.

Места мало в поэме. И близость опутает нас.
Я замнусь, заволнуюсь, спрошу у тебя закурить
и, не смея поднять переполненных встречу глаз,
буду длинно и сбивчиво что-то тебе говорить.

Но ты все же поймешь, что я много искал, наблюдал,
то, что помнилось ночью, я вновь повторял по утрам,
что я знаю Вергилия, Маркса всего прочитал,
что могу понимать многозвучье шекспировских драм.

Что я, кроме всего, отступая от громких верхов,
научился терпенью. И если при этом участь,
что из многих моих от рожденья ослепших стихов,
от рожденья беспальных, в наличии зрячие есть,—

если это учесть, то ты сразу поймешь, что уже незадачливый автор живет на втором этаже, на втором этаже многократно проверенных чувств, на соленой волне одного из нелегких искусств.

Вот тогда и писать. Вот тогда и вести разговор о суровых дорогах твоей неизвестной души! А пока ты выходишь не то перекованный вор, не то безнадежный. И сколько бы я ни пиши, и с каких бы хороших тебя ни разведай сторон, от каких перепоя в кровать помирать ни клади —

если ноги твои не прочней разварных макарон, если сбита кровать из каких-нибудь двух иль пяти облупившихся строк и в глаголах свистит пустота, — не поверит читатель. Я не дал ему ни черта!

Читатель, он вырос. Он скажет: «К ответу лгуна, стихоплета, убийцу и болтуна!»

Так что лучше уйди. И уход унеси, как зарок... И герой мой послушал. Оделся. Обул сапоги. И с великим трудом уносили его за порог онемевшие ноги, тяжелые, как утюги.

Человек уходил в беспримерную жизнь. В бурелом. И счастье и буйство меня охватили тогда. И клочья поэмы взметнулись над гладким столом, как белые чайки, когда закипает вода.

ПОРТРЕТ ПАРТИЗАНА

Трилогия в стихах

От автора

В этой книге автор попытался нарисовать образ простого русского человека, выходца из самых глубоких низов трудового народа. Герой трилогии, Александр Черенок, сначала батрачонок, потом конюх у московского купца, затем мастерской, испытывает все ужасы эксплуатации и бесправия старой, царской России и становится, наконец, активным, сознательным революционером и воином. Александр живет и борется за счастье своего класса и за свое собственное счастье, как жили и боролись тысячи ему подобных.

Книга эта возникла не случайно.

Был я проездом в одном зауральском колхозе. Меня устроили на ночлег к радушному и гостеприимному рыболову. Когда я вошел в избу — первое, что бросилось мне в глаза, был уже поблекший портрет, написанный масляными красками, вставленный в желтую кленовую раму. Портрет изображал кудрявого молодого человека в папахе и дубленом полушубке, перекрещенном ремнями. Одна его рука лежала на эфесе шашки, другая была заложена за отворот полушубка. Нижняя часть портрета была не окончена. Когда мы сели ужинать, я полюбопытствовал:

— Кто это изображен, хозяин!

— Это боевой человек! Начальник партизанского отряда.

И хозяин охотно поведал мне историю портрета. Она была краткой. В восемнадцатом году в этих местах действовал неуловимый партизанский отряд. Малый по численности, но крепко сплоченный и хорошо вооруженный, он громил белые пехотные части, расположенные в округе. Однажды отряд остановился на ночлег. Была короткая передышка. И вот один из бойцов, художник-самоучка, и в походах не расстававшийся с кистями и красками, стал рисовать командира. Целых два дня смиренно сидел командир, позируя бойцу. Но внезапный налет белых с тыла прервал работу художника. Командира ранили. Под огнем противника бойцы увели раненого начальника в лес.

Портрет хозяин спрятал и бережно хранил его до прихода красных, потом вставил в новую кленовую раму и повесил на стену.

— Как хоть его звали? Откуда он родом?

— Сказывали, что батрачил он в детстве на Урале, не то в Поволжье, а звали его Александром... И жена у него была Настасья. Он ей письма писал в Москву...

Всю ночь я не мог заснуть. Завидной и счастливой показалась мне мысль воскресить в стихах образ красного воина, черты которого были изображены на сером холсте в кленовой раме. Как протекли его детство и юность? Где? При каких обстоятельствах?

Может быть, давно уже сровнялся с землей всеми забытый и поросший бурьяном безвестный холмик партизанской могилы? А может быть, жизнь не оборвалась. Может быть, пройдя сквозь огонь и дым гражданской войны, остался жить и здравствовать мужественный и смелый человек?

Но не все ли равно! Воображение уже горячилось, толкало к столу. «В добрый час!» — сказал я сам себе и принялся за работу.

Д Е Т С Т В О

Глава первая

Холоднов детство!
Каким его словом помянешь?
Видно, люльку качала
сама холодина судьба.

Не всхлипнешь,
не выскочишь,
глаз не прищуря, не глянешь:
обогрета по-черному,
дымом набита изба.

Так и встает оно в памяти,
детство босое:
шесть аршин в поперечнике,
крытые глиной сырой,
девять ртов,
каравай, окропленный соленой слезою,
да картошки чугуи
с голубой от огня кожурой.

Голодное детство!
Каким его словом помянешь?
Мать в Заборье ушла,
может, на пять,
а может, и на десять дней;

не докличешься матери,
рук до нас не дотянешь —
все равно не услышит
за свистом летящих дождей.

То ли гром говорит?
То ли ведра гремят под горою?
Будто стенка стоит,—
затянуло пруды и сады.
Только стенка не просто,
а струи, сплетенные втрое.
На тесовая стенка,
а сделана вся из воды.

* * *

Но у доброго солнца хватает тепла,
даже по льду бегут полыньи.
Холодина судьба
застудить не могла
паренька из бедняцкой семьи.

Сквозь осиновый дым,
как клубок-колобок,
несмотря на жару и мороз,
как принявшийся крепко
зеленый дубок,
паренек незаметно подрос.

Невысокого роста,
не дюжий в плечах,
но зато прокопченный до ног,
от дождя не размок,
от нужды не зачах
Алексашка —
лихой паренек.
И когда лишь девятый годок подоспел,
выпал теплый
весенний денек —
он от старшего брата
отстать не хотел,
Алексашка —
лихой паренек!

По холодному пологу утренних рос,
не приученный полусту нить,
не охотник на жалобы,
весел и бос,
Алексашка
пошел боронить.

Заливались щеглы
на высоких шестах,
сизари зазывали подруг.
И еще превеликое множество птах
говорило и лело вокруг.

— Молодец, Алексашка! —
кричали дрозды.
— Работяга! —
свистели скворцы,
и вились, распластав вороные хвосты,
и звенели во все бубенцы.

Птички трели!
Их надо уметь различать,
в них и дружба
и ласка слышна.
Трясогузка, и та не хотела молчать.
— Не плошай! —
щебетала она.

Где там было плошаты!
Весь в поту и пыли,
Алексашка
старался как мог,
и дымилась рядки
обновленной земли
у босых Алексашкиных ног.

Хорошо на загоне,
у птиц на виду!
А приехал с работы домой:
хочешь — в бабки играй,
хочешь — дуйся в лапту,
хочешь — песни веселые пой.

* * *

Так и жил бы в семье
и работал малец,
да у счастья
деньки коротки:
как ни плакала мать,
как ни думал отец,
а пришлось
отдать в батраки.

За тринадцать целковых
на целый на год,—
дескать, слабый еще мальчуган.
А как только по найму расчет подойдет,
подарить посулили кафтан.

У хозяина дом —
крестовик расписной,
сортировка стоит у сеней.
Кроме трех битюгов, жеребец выездной,
супоросых двенадцать свиней.

Он и сам-то, хозяин, как боров, здоров,
рожа — свеклою,
ноги — дугой.
По всему Белополью на сотни дворов
не найдется такой же другой.

Агафон Поликарпов!
Деньга на деньга —
хитроумная, жадная тварь.
Свой паром на реке,
свой подвал на замке —
мукомол, мыловар и свинарь.
Самого бы его, ожирелого, в клеть.
Он стоит — подпирает бока.
— Наперед говорю,
что работа легка —
не придется о доме жалеть!..—
Только трудно поверить в такие слова
человеку бедняцких кровей.
Все, что нехотя сказано было сперва,
позабылось с первых же дней.

Алексашка — туда,
Алексашка — сюда.
— Что ж ты, сучий бездельник, ослеп?
Почему протекла
в кладовую вода?
Знать, не дорог хозяйский-то хлеб?!

Алексашка бежит
за ботвой в огород,
Алексашка свивает супонь,
Алексашка
крапивиу дерет у ворот,
Алексашка
разводит огонь.

Неизвестно, куда запропал молоток,—
Алексашка небось вороват.
У телеги намедни
осел передок —
Алексашка опять виноват.

— Не жалеешь добра!
Не горюешь по нем?
Нет, касатик, дела не по мне! —
И хозяин витым
сыромятным ремнем
Алексашку
частит по спине.
А когда у телеги и что сокрушил —
Алексашка
не знает и сам.
И текут,

прожигая до самой души,
два горячих ручья по щекам.

И толкает обида к дыре у плетня —
без оглядки бегом через сад!..
— Мамка, мамонька,
слышишь, маманька, меня?
Забери меня, мамка, назад!

Мамка в жалости гладит морщинки у глаз:
— Помолися... всемилостив бог...
— Я молился, маманька,
молился не раз,
да выходит, что бог-то оглох!

— Что ты, дитятко! —
В ужасе крестится мать.—
Так про бога нельзя никогда.
Надо божью волю уметь понимать.
Ну, возьму я тебя... а куда?

Алексашка — к отцу,
но, устав от косьбы,
безответен отец и суров.
Словно сдавленный
горем сыновней судьбы,
он лишился приветливых слов.

Алексашка к старшему братану бежит,
просит, молит его на лугу:
— Тихон, родный,
скажи ты папане, скажи,
не могу им служить,
не могу!..

Но и Тихон молчит,
что он скажет в ответ,
если деньги забрали вперед,
если денег не то что для откупа нет —
побираться приходит черед?

Гладит Тихон братишку затакшей рукой,
на сырую сажает траву:
— Погоди, мой браток,
потерпи, дорогой,
заберу я тебя к покрову.

Вместе на зиму примем
поденный подряд.
В лесорубы артелью пойдем.
Хоть не сладко в лесу,
не легко, говорят,
все вольготнее будет вдвоем.

Глаз у Тихона карий,
характер прямой,
не отыщешь на свете добрей,
да и весь-то он, Тихон,
приветливый, свой
от чернявых волос до лаптей.

И бредет Алексашка обратным путем,
над селом опускается тьма.
И встречает его
у двора, за углом,
свиристелка — хозяйка сама:
— Тыфу ты, пропасть!
Как есть не работник, а таты!

Али нету креста на груди?
Гусака-то опять на дворе не видать,
вот попробуй-ка мне
не найди!..

— Я сейчас...—

Алексашка в ответ говорит
и бежит за овин, в буарак.
Так и есть —
он опять на гумне, паразит,
трижды проклятый, стерва-гусак!

Сколько раз Алексашку
секли за него:
то уйдет за четыре версты,
то на погребе влезет в кувшин головой,
то загадит
на речке холсты.

И берет Алексашка того гусака,
распинает его на току,
заправляет репейник ему под бока
и вставляет перо гусаку!

Ненавистная птица
встает на дыбы,
вырывается,
к дому летит,
подымает под окнами
пыли клубы,
тарарам учиняет в клетях.

Закудахтали куры,
взметнулся петух,
захлебнулся от лая кобель.
И летит над курятником
розовый пух
и ложится, как снег, на кудель.

А гусак с перепугу
в амбар залетел,—
попытайся его разыщи!
И хозяин решает:
— Гусак ошалел,
зарубить его, гада, на щи!

Г л а в а в т о р а я

Кто слышал,
как в тоскливой октябрьской ночи
воют волки у голых озер?
Темнота...
Только две помутневших свечи,
не мигая,
идут на костер.

Это самый прожорливый,
самый худой,
недостреленный волк-лиходей.
Поседевший
от вечных погонь за едой,
он давно не боится людей.

Зверь глядит на добычу,
не дрогнув, в упор,
он немедля задрал бы коня,
но немыслимый страх
с незапамятных пор
заставляет бояться огня.

Кто сидел в этой волчьей,
безрадостной мгле
и, вконец истомившись к утру,
засыпал,
прижимаясь к остывшей золе,
к почерневшему за ночь костру?
Кто изведаль, тот знает,
что даже во сне
белый свет горемыке не мил.

...До двенадцати лет,
в продувном зипуне,
Алексашка
по людям ходил.

* * *

Как-то под вечер,
в самый негаданный час,
нарушая покой тишины,
по селу прогремел расписной тарантас
и свернул
у двора старшины.
Колокольчик казенный протенькал и смолк,
словно сразу к чему-то прирос.
И никто догадаться сначала не мог,
что за вести урядник привез.

Понимали одно:
не к добру занесло,
и жалели, что справен паром.
По такой поздноте
ни в какое село
не поедет урядник с добром.
Либо подати требовать
с бедных людей,
либо новый какой разговор...
Оказалось дело гораздо лютей:
на войну забирали. Набор.

Разговоров особых
приезжий не вел,
больше крякал
да гладил усы,
о смиренье болтал,
о престоле молот
да попутно
спросил про овсы.

Объявил и уехал посланник царев,
захватив на дорогу фонарь.
И застряло в ушах
только несколько слов:
«послушание»,
«служба» и «царь».

Долго молча смотрели
вослед мужики.
И казалось, в такой тишине
слышно было,
как в тине заснувшей реки
караси шевелились на дне.

Пахли ладаном
страшные эти слова.
И народ как-то сразу ослаб...
Зарыдала в отчаянье
первой из баб
Агриппина Рыжова, вдова.

Говорили, что в девках
у ней был жених
первый певчий из Брода-села.
И при полном согласье
у них у двоих
песня вроде спасенья была.

До того голоса у них были чисты,
до того
каждый голос был мил,
что рабочий народ
даже в дни пахоты
всякий вечер их слушать ходил.
Но забрали в солдаты
певца-жениха,
опустело в родной стороне.
А солдатом-то быть —
далеко ль до греха?
И бедняга погиб на войне.
Белый свет Агриппине
стал больше не мил,
загрустила,
душою темна,
словно на сердце камень
ей кто положил..
С той поры
не певала она.

И хоть отроду
не было мужа у ней,
вековуху с седой головой,
как бы в память
о счастье девических дней,
все ее называли ядовой.

* * *

Этой осенью с Гудяки Тихон пришел,
девять месяцев в шахте отбив,
возвратился домой он,
угрюм и тяжел,
и как раз
угодил под призыв.

Неизвестно,
как шахта была глубока,
только было известно, что там,
на отбойной работе,
нашел он дружка
много старше себя по годам.
Недозволенным словом тревожиться стал,
уходил в потайные места.
А дружок Афанасий киркой испытал
весь Урал
от пласта до пласта.
За спиной у него будто вихрь задувал,
годы бедствий прошли чередой.
Он и солдатах бывал,
и в Заборье ходил за рудой.

Но куда бы дорога его ни вела —
всюду злая вставала черта:
по одну ее сторону роскошь была,
по другую —
была нищета.

По одну ее сторону —
голод и аши,
по другую —
угодья цвели.

По одну —
загребали в мошну барыши,
по другую —
на каторгу шли.

Говорил Афанасий:
— Какого рожна
нам в потемках по свету кружить?
Темнота-то,
кому она, братцы, нужна?
Мы хозяев должны
сокрушить!..

Вместе с ветром
разбуженный Тихон вдыхал
боевую,
запретную речь.
Обещал он товарищам
все, что слышал,
как святое оружие беречь.

И сберег бы шахтер
эту клятву навек
и в большое бы счастье проник,
да по-разному скроен, видать, человек, —
прежде времени Тихон поник.

Как тогда понимали
казарму-тюрьму?
Мордобои, с утра в поводу.
Горше ссылки она показалась ему,
и Тихон решил:
— Не пойду!

Глава третья

День и ночь, день и ночь
Алексашка берег
незабвенную думку одну.
Сколько разных тревог
уносил ветерок,
сколько их оставалось в плену!

Не мечтал Алексашка в дому у господ
подогреть
есть пироги,
а мечтал Алексашка
(который уж год!)
покупные надеть сапоги.

Есть ли что-нибудь краше,
чем пара сапог?
Частым рубчиком выведен рант,

хочешь — с правой ноги,
хочешь — с левой ноги,
так и эдак примеривай —
франт!

Алексахке приснился сегодня опять
беспокойный,
немыслимый сон:
будто пару сапог
он пошел покупать.
Разыскал и размер и фасон,
сторговался, расчелся,
присел на скамью.
Только правую ногу в сапог...
— Ты чего здесь засел
на скамью на мою? —
Кто-то раз,
кто-то два его в бок!

Алексахка скорей
на другую скамью.
Только правую ногу обул...
— Ты куда примостился, мошенник? Убью! —
чей-то голос,
как хлыст, полоснул.

Алексахка в тоске осмотрелся вокруг.
Только низ подвернул у порток...
Сапоги увернулись вдруг из-под рук —
и давай от него
наутек!

Мимо сонных дворов,
мимо старых ракит,

за бугор,
в гущину камыша,
правый пятится,
левый вперед норовит,
схватишь оба —
в руках ни шиша!

Вот уже сапоги
за высокой кугой,
не ушли бы
под воду, смотрел..
Прозевал!
Захлебнулся один и другой,
и остались
одни пузыри.

Алексашка — за ними!
Как блин за блином,
разошлись
водяные круги,
вот идет он в погоню,
как есть, нагишом:
вдоль по речке
бегут сапоги.

Не пускай их хоть и ветлам!
Держи на мели!
Ухвати их
за мокрый носок!
Но куда там хватать!
Сапоги уползли,
как вьюны,
под зыбучий песок.

Алексашка проснулся
в холодном поту,
Неужели
не купит отец?
Неужели и в этом,
и в этом году
не придет ожиданью конец.

* * *

Воскресенье всегда
начиналось так:
звон к заутрене, медленный пар
на хозяйском столе
выдыхал самовар,
у калитки
стучался бедняк.

Подперев костылем навесную суму,
нищий долго
и скучно просил.
— Проходи, проходи! —
говорили ему,
и, не выпросив,
он уходил.

Алексашка скотину поил. Начищал
оцинкованный дойник худой.
Рукотерку-вехотку скрутив из мочал,
мыл пролетку
горячей водой.

А потом наступал
долгожданный момент.

Говорила хозяйка:
— Ступай!
Да вертайся ко времени:
не тот инструмент,
чтоб ходить за тобой...
Так и знай!

Это значило:
можно домой до утра!

От волнения —
на сердце пожар:
а куда это ездил
папаян вчера?
День субботний,
небось на базар?!!

Алексашка спешит,
ускоряет шаги.
Вот околицу он миновал,
вот он в избу ввалился.
И... чуть не упал.
Что ж он видит?
Опять сапоги!

То ли сон, то ли бред,
то ли верить не след?
И не бред в этот раз,
и не сон.
— Обувай, Алексашка! —
короткий ответ
с четырех раздаётся сторон.

Справа — мамка веселая,
слева — отец,
по-за дверью
сестренки стоят,
и у каждой
торчит за щекой леденец,
и на каждой —
обновка-наряд.

Никогда еще не было,
чтобы отец
при своей бедноте
«на авось»
продал меру пшена,
продал пару овец
и гостинцев
ребятам навез.

— Ой, спасибо, папаньяка!
Спасибо, папаны!..
— На здоровье, сыночек,
надень!
— Глянь-ка, мамка, на задники!
— Сам-то ты гляны!
Да на улицу глянь, на плетены!..

А на улице
в искрах осеннего дня
табунком,
перед самым окном,
на верхушке плетня

собралась ребятня,
и шумит ребятня
об одном:

— Алексашке отец
сапоги подарил!

— Побожись! На подборах?

— Угу...

— Да не верьте Сычу, у него волдыри
от вранья по всему языку!..

— Вот те крест!

Я видал, как он нес их домой...

— Тихо, тихо, опята-грибы!..—

Руки я боки,
не чуя земли под собой,
Алексашка
шагал от избы.

Сапоги далеко оказались не те,
что достались было во сне.
Но и эти,
без всяких рубцов на ранте,
были дороги
даже вдвойне.

Все застыли
при виде такой красоты.
Даже самый горластый Бурлак,
задиравший всегда
за четыре версты,
ненавистник,
вертун и сопляк!

* * *

Целый день
Алексашка провел как герой:
верховодил
над всем табуном;
в городки,
в выручалки играл под горой;
на ходулях
ходил ходуном.

Ничего не хотелось:
ни пить и ни есть,
все хотелось куда-то спешить.
На траву ни прилечь,
на бравно ни присесть,
все ходить бы,
ходить и ходить!

Чтобы видели все,
каковы сапоги
с парафиновым скрипом внутри.
Хочешь — с левой ноги,
хочешь — с правой ноги,
хочешь — слушай,
а хочешь — смотри!

Между тем вечерело. Студеный дымок
над рекою
поплыл в темноте.
И уже не скрипели подошвы сапог,
а ворчало
в пустом животе.

Позабыв про еду,
полон счастьем своим,
утомленный
хвальбой и ходьбой,
по тропинкам глухим,
по проулкам пустым
возвращался гуляка домой.

Только прежде чем в избу
пойти напрямки
и за свежий засесть каравай,
Алексашка решил
обтереть сапоги,
забежать
на минутку в сарай.

Сапоги не портянки!
Не купят теперь,
может, года четыре подряд...
Подбежал,
распахнул кособокую дверь —
и в смятенье
отпрянул назад!

Посередке сарая,
у старых колес,
в пустоте,
на ладонь от земли,
чьи-то ноги висели лодыжками врозь,
неподвижные,
как костыли.

Алексашка сначала признать их не мог,
отступился

и вдруг задрожал.
«Тихон!» — крикнуть хотел,
но тягучий комок
пересохшее горло зажал.

Брат висел на плетеных
на длинных вожжах;
Алексашка
пригнулся под ним,
и уже ни смятение,
ни боль и ни страх
не владели
ни капельки им.

Нужно было не дать
совершиться греху!
Упираясь плечом в коноплю,
он хотел приподнять его так,
чтоб вверху
хоть немного
ослабить петлю.

Он напрягся до хруста в спине,
как умел.
(Смерть была между ними двумя!)
Труп, казалось, подался,
но тут же осел
и бессмысленно
замер стоймя.

Он уже холодел, посиневший братан,
все до жилки в нем было мертво.
Узловая вожжа,

как суровый гайтан,
подымала
под кровлю его.

И тогда,
как глухую плотину вода,
дикий вопль
распорол немоту:
— Тихон, Тихон решился!
Папаня, сюда! —
Алексашка
завыл в темноту.

Все померкло:
забавы воскресного дня,
залитые лучом золотым,
долгожданный подарок,
мечты, ребятя —
все оглохло
и выдохлось в дым!

Это первая злоба,
за сердце задев,
заходила,
как брага в ковше.
Это страшный,
еще не испытанный гнев
закипел у мальчишки в душе.

От кого он идет,
этот гиблый надел,
где неслыханной смерти вина?
Кто хотел, чтобы Тихон веревку надел!
Может, он, волосной старшина?

От «святых» его слов,
как от черной чумы,
много лет
вся деревня в слезах,
так скорей же туда
под прикрытием тьмы!
К старшине!
Для расплаты впотьмах!
По проулку зачем?
Велика долина.
Через меркнувший сад,
напролом!
Вон он, видишь,
сидит у окна, старшина,
распивает чай за столом.

— Всякий раз по полдюжине
блюдцев подряд —
больно дорог
китайский-то чай!
И кирпичный чаек ничего, говорят,
ну-ка, пробуй его,
получай...

Алексашка, не целясь,
за сорок шагов
хлобыстнул
по стеклу кирпичом!
Только брызги в ночи,
только стук каблуков,
только ветер ночной за плечом.

Глава четвертая

Священник сказал,
что в отступниках Тихон ходил,
супротив будто
бога Христа.
Потому хоронили его
без кадил,
на погост отнесли
без креста.

Замолчала толпа
перед скорбным концом.
Только мать
в неизбывной тоске,
припадая
к родимой могиле лицом,
слезно билась на влажном песке.

Все казалось ей, матери:
встанет сынок!
Как живому,
кричала ему:
—Спамятуйся, родимый!
Подумай чуток,
не пойму я тебя...
Не пойму!

А когда возвратилось
семейство домой,
в разлётке
из тонкого льна,

опоясанный гарусной
новой тесьмой,
у избы ожидал старшина.

— Вот что, братцы,
я вас не гублю, не душу.
Без того вас, видать, припекло...
Но как частных крестьян
я вас миром прошу
рассчитаться со мной
за стекло.

Понапрасну пока
я на вас не серчал.
Так что вы у меня не того...
Я советую все-таки взять на причал
молодого
волчонка своего!

Алексашка не знал,
как затеялся спор,
как отец заработал синяк,—
Алексашка с разбегу
махнул за забор
и задами
ушел в березняк.

Здесь, средь гаснущих листьев,
в осеннем дыму,
безопасные были места...

По проезжему тракту,
один к одному,
захмелевшие шли рекрута.

Кто-то тронул гармонь,
но замолкли лады,
голос песни плеснул — и зачах.
Что несли они,
горькие дети нужды,
в деревянных своих сундучках?

Что ждало их
за дальним столбом городским?
Шапки сдвинуты,
лапти — в пыли.
Весь их пасмурный облик
казался таким,
словно их под конвоем вели.

Алексашке подумалось:
«Кабы знатьё,
вот уйти бы за ними — и на!..
Все равно теперь дома
какое житьё?
Загрызет
за стекло старшина!»

Пожелтелые листья
роняли росу;
воронье вдалеке пронеслось...
Как легко и привольно
дышалось в лесу
и как тяжко
и грустно жилось!

★ * ★

Попытайся
кручину свою задари —
не нужны ей
твои медяки...
Буйно зѣпил отец,
от зари до зари,
беспробудно,
как пьют бедняки.

Что с того, что закрыты
вокруг кабаки!
Горькой хватит — была бы деньга.
Если лошади нету —
найдется дуга,
если нету дуги —
сапоги.

Сапоги!
Задушевная радость сына.
«Ой, отец! От тоски недалеко до зла.
Не пропил бы он их у дверей кабака!» —
беспокоилась мать, не спала.

Подымалась,
на цыпочках шла к камельку,
зажигала лучину тайком.
«Надломился мужик,
не понять мужику,
что не можно
ходить босиком.
И не дай ты, господь,
сохрани, помоги!»

Первой ночью —
к рассвету легла,
на вторую вставала —
лежат сапоги,
а на третью
сапог не нашла.
Всю неделю отец не заглядывал в дом,
опостылело, видно, житье,—
все старался залить
окаянным вином
безутешное горе свое.

Столько горя на мать
навалилось впервой.
Обложила ее седины,
будто целую ночь
по бурану она
с непокрытою шла головой.

* * *

То, что в мыслях живет —
надо так понимать,—
совершается вдруг наяву.
И надумал отец,
и решилася мать
снарядить Алексашку в Москву.

Так и думали дома: покуда тепло —
доберется сыночек,
а там
пораскинет мозгами —
найдет ремесло,

не забудет
помочь старикам.
Собирались недолго.
Сплели лапотки,
залатали худой зипунок,
девять гривен последних
зашили в портки,
хлеба в сумку —
и в путь, Черенок!

На прощание мать напоила кваском,
поглядела в глаза,
обняла.
И взмахнул Алексашка тогда батожком
и промолвил:
— Была не была!

Понимал он,
что играм теперь не бывать,
на него
опиралась семья.
Не играть в выручалки,
а хлеб добывать
уходил он в чужие края.

* * *

Покидал Алексашка родное село
у спящих лучей
на виду.
Красногривое солнышко
по небу шло,
заломив козырек на ходу.

Наступившее утро
играло в дуду.
закликало
рудым петухом,
твердым желудем часто стучало в саду,
разрывалось
сухим лопухом.

На манушках
еще не дозревших рябин
заиграла
кистей кутерьма.
Что ни ягодка —
то самоцвет и рубин,
что ни веточка —
блестна сама.

Вон подсолнух стоит на зеленой ноге,
озорной головой
на восход;
вон девчонка
с кривым коромыслом в руке
за водою
на речку идет;
вон проворною стайей летят журавли.
— Долетим! —
раздается окрест.
Вон, забрызганный солнцем,
белеет вдаль
над холодной могилою крест.

Тихон! Тихон!
Разбей гробовую кору,
шевельни занемевшим плечом.

Посмотри,
как шагает браток на ветру.
Не поймет он тебя нипочем.

Что бы ни было:
холод, плохие харчи,—
Алексашку
не взять на крючок!
— Молодец, Алексашка! —
кричали грачи.—
Добрый путь,
дорогой землячок! —
Птичьи провода
надо уметь различать.
В них большая душевность слышна.
Трясогрузка и та не хотела молчать.
— Не сдавайся! —
пищала она.
Стрекотали сороки
в колючих кустах,
били дятлы
у темных яруг,
и еще превеликое множество птиц
говорило
и пело вокруг.

ЮНОСТЬ АЛЕКСАНДРА

Глава пятая

Не та Москва,
что дома в Зарядье
держала впрок,

да пекла олады,
да ела их пополам с икрой,—
а та Москва,
что в нужде кабальной
ютилась в Марьиной роще дальней,
была Александру
родной сестрой.
«Терпи,— говорила судьба,— не сетуй,
настанет время — за муку эту
поедешь прямою дорогой в рай!»
Чего-чего, а житья худого
на долю люда мастерового
судьба выдавала по самый край.

* * *

Сон, безмолвие и покой
на улице
на Ямской.
Чуть покачивая головой,
дремлет
в будке городской.
Из дырявых небесных сит
дождик
медленно моросит.
Перестанет
(минут пяток)
и, шутя,
перейдет в поток.
Дремлет
сонный городской:
никого нет на мостовой.

Да и кто
 побредет сейчас —
в этот ранний, холодный час?
Неказистый,
 рябой на вид,
полукаменный дом стоит.
С мезонином
 (два этажа),
водостоки поела ржа.
Фортка круглая, как душло.
Из подвала
 валит тепло.
Так и тянет
снаружи вниз
сладкий запах такой — анис.
На воротах доска висит:
«Булочная, гласит,
Дронова А. и Ф.»
(бублики держит лев).
Формы,
 противни и крючки.
По застенкам
 свистят сверчки.
И, ни слова не говоря,
вертят кренделя пекаря.
Как кузнечная,
 пышет печь —
надо вовремя все испечь.
Горячи,
 горячи,
 горячи,
надуваются калачи.

На поду
сидит королем
белый ситничек с мизулам,
с твердою корочкою — ржаной,
пеклеванной и заварной.
Слойки,
бублики,
пирожки,
пышки,
маковики,
рожки...
— Живо, живо!
Кончай базар! —
старший пекарь кричит, Назар.
Он с хозяином сват и брат,
потому —
отличиться рад.
— Поворачивайся, не зевай!
Алексашка, давай вставай!

* * *

Если даже удачи нет,
крепко спится
в шестнадцать лет.
Как бы жизнь ни была тесна,
все светло
под покровом сна.
Сновиденья,
тепло,
уют —
спал и спал бы,
да не дают.

Где же лучшую жизнь сыскать?
Александру не привыкать!
Сжавшись весь под дождем,
 как вор,
он бежит через грязный двор,
как и прежде,
 разут и рван,
запрягать жеребца в рыдван.
Вон проснулся хозяин сам —
сразу видно его по усам.
Он в кальсонах стоит на крыльце.
рыжий дьявол
 в мучной пыльне.
— Подавай,— кричит,— подавай!
Пошевеливайся,
 не зевай! —
Семь корзин —
 равно семь пудов
духовитых
 печных хлебов
Алексашка в один момент
ставит рядышком
 под брезент.
Всюду лезет хозяин сам:
— Развезешь хлеб по адресам —
возвращаясь
 скорей домой,
скинь брезент
 да фургон помой! —
Александр стоит на возу:
— Не волнуйтесь,
 развезу!

Ну-ка, Чалый,
пошел вперед!..—

Свист —
и выехал из ворот.
Дремлет сонный городской —
никого нет на мостовой.
Надоело ему дремать:
ни погреться,
ни поорать.

Между тем
духовитый воз
подъезжает под самый нос.
— Стой! — ярится городской.—
Ты откуда?

И кто такой?
Конюх Дронова,
так-перетак?!
Дай-кошь бубликов на пятак!
— Не торгую я...

развожу...
— Я тебя ярманку покажу! —
За чупрун берет извозца,
за узду берет жеребца,
поднимает брезент, рыча,
и хватает два калача.
— Не хотел, болван, за пятак,
угостимся запросто так!

★ ★ ★

Дождь стихает.
В туман одет,
над Москвою встает рассвет.
Гаснут редкие фонари...

Алексашка,
 вокруг смотрит
Будка каждая,
 каждый дом —
все омыто вокруг дождем.
Что ни столб —
 черен весь, поджар,
будто только что был пожар.
Стали пестрыми от воды
ставни,
 лавочные ряды,
церковь в розовой епанче,
флаг на Марьинской каланче.
Даже кажется, что промок
над фабричной трубой дымок.
Будь в деревне такой же дождь,
там по улице не пройдешь.
А Москва —
 есть всегда Москва!
Легкий ветер подул едва —
и мокреть
 как сняло рукой,
и бульжник уже сухой.
Все приветливей и светлей.
Все отчетливей и теплей.
По встревоженной мостовой
потянулся мастеровой:
плотники,
 кровельщики,
 столяры,
медники,
 шорники,
 маляры.

Стряпчий в гору рысцой спавшит,
пес с кошелкой за ним бежит.
По проулку промчал лихач —
кучер ездить, видать, ловкач.
Барин

с барыней молодой...
Фу-ты ну-ты,
рассоры гнуты,
вишь, подишь ты, фасон какой!
Все торопятся,

все снуют —
все служивый, рабочий люд.
Кто — умеет водить пером,
кто — орудовать топором.
Кто — становится за верстак,
кто — иконы писать мастак!
Все протяжней

и веселей
крик знакомый: «Углей, углей!»
И совсем на басах,

как гром:
«Покупаем, старье барвм!»
Вот наконец,

поднимая грай,
двинулись тучи
галочьих стай.

Это

ударил со всех сторон
медный, пронзительно-долгий звон.
Говор кованых языков,
ранний рев сорока-сороков.

* * *

Хоть ленив жеребец в езде,
Александр побывал везде.
Был на Трубной
и на Донской,
на Неглинной
и на Тверской;
на Остоженке в тупике,
у моста
на Москве-реке;
у трактирщика-старика,
у Игнатия-часовщика,
у владельца Крымских бань,
у купчихи
по кличке «Глянь»,
у торговца мореным льдом
(трехэтажный кирпичный дом),
в балалаечной мастерской
(струны тенькают день-деньской).
Где
встречали его с ленцой,
с неожиданной добрецей:
хоть, мол, стар у тебя жеребец,
все же парень ты молодец!
Где
наградою за труды
распекали на все лады:
мол, хозяин твой плут, малец,
да и сам ты, видать, шельмец!
Но не все ли равно ему,
парню горькому моему:
где же лучшую жизнь сыскать?

Александру не привыкать!

Оставался

последний дом,
за бульварами,
над прудом.

В этом доме

(к чему скрывать!)

Алексашка любил бывать.

Две причины тому виной.

Сначала поведаем об одной.

Одна «причина» была важна:

с черной косою ходила она.

Как на картине, коса вилась —

Настенькой-горничною звалась!

От этой чернявки

(в который раз!)

не мог оторвать Алексашка глаз.

Увидит, бывало, ее у ворот —

и весь переменится, весь замрет.

Но как тут заигрывать:

он босой,

она же

в переднике и с косой!

Вторая причина была простой,

незадачливой и пустой,

но именно с нею-то,

как назло,

Александру не повезло.

Жила в этом доме, храня добро,

одна генеральша —

мадам Домбро.

Генеральша была вдова,

и ходила о ней молва:

неизвестно каким трудом
содержала хозяйка дом,
где получала доход

и как,
но держала она собак.
Да не пять собак

и не шесть,
а начни считать —
так не счастье!

Разных —

легих,
рябых,
косых.

Фоксов,

пуделей
и борзых.

И была среди собак одна
в белый бархат обряжена.

Можно верить, а можно — нет:
был надет на нее корсет
и лечили ее с утра
настоящие доктора.

Обходилась хозяйка с ней,
как с богатой родней своей:
— Зизя! Зизечка!..

Вас ист дас? —

И сейчас шоколадку даст,
Алексашка был боевой,
меж собак он ходил, как свой,
но ни разу, хоть был удал,
собачонку ту не видал.
То есть видел, конечно, но

в отдаленье,
 через окно,
а хотелось взглянуть вблизи,
 что такое есть за Зизи.
Ой, любопытство!
 За ним всегда
где-нибудь рядом стоит беда...

★ ★ ★

Случилось так,
 что на этот раз
ему экономка дала приказ
снести незатейливый свой багаж
прямо в буфет,
 на второй этаж.
В первый раз
 Александр шагал
по гладким стежкам
 богатых зал;
робким шагом,
 разинув рот,
медленно
 двигался он вперед.
«А что,— подумал он,— если мне
укрыться где-нибудь в стороне...
Спешить-то некуда, посижу,
а сучку все-таки разгляжу!»
Снес корзину,
 пошел назад
и, не раздумывая, наугад,
как мог осторожнее и быстрее,
свернул в ближайшую из дверей.

В то, что предстало его глазам,
долго потом он не верил сам:
башкой на подушке,
совсем вблизи,
на мягкой перине
спала Зизи.

На плюшавом столике,
недалеко,
дымилось в блюдечке молоко,
и тут же рядом,
наискосок,—
мяса жареного кусок.

Вытянув хвост
и глаза смежив,
зверь лежал,
будто бы не жив,
тихо,

на выглаженный платок
высунув розовый коготок.

Глядел Алексашка
во все глаза
и думал с равностью:
«Чудеса!»

Вздохнул. Помялся.
Еще вздохнул.

Пошел обратно
и... вдруг чихнул!

Не в силах
ничем побороть испуг,

Зизи
надулася, как индюк,

в ярость вся превратясь
и в злость,
словно у ней
отобрали кость.
Стоял Алексашка
ни мертва ни жив,
застыв и дыхание затаив.
Стоял,
как надрубленная лоза,
с лохматой бедою
глаза в глаза.
Дать ей пинка? —
не ответишь вовек.
Взять придушить? —
не такой человек.
Попробовать лаской?
Остаться тут?
Застанут —
жуликом назовут.
Выход остался один:
удрать!
Но поздно было уже выбирать.
Собаку
как ветер с кровати сдул.
Прыжком сиганула она через стул
и, разъяренная, у стены
взяла
любопытного за штаны.
Штаны были ветхими,
суший хлам,—
так и треснули
пополам.

Переда нету,
а зад живой.
Словом, дела,—
хоть ложись да вой.
Бежит Алексашка,
раздет, разут,
а генеральша-то тут как тут.
Как увидала его вдова,
так и свалилась,
едва жива...
Бежит Алексашка.
Тряпье в руке.
Ткнулся в парадное —
на замке.
Все адреса растерял на бегу.
Забился в угол —
и ни гугу.
Сидит за тумбочкой
без порток...
И вдруг доносится шепоток:
— На вот, дурень,
вылазь с угла...
Другой одежды я не нашла! —
Смотрит парнишка
туда-сюда.
Что там такое?
Опять беда!
Смотрит и видит
(позор и стыд!):
Настя-чернявка-то
рядом стоит.
Стоит —
и тянет к его рукам

юбку с оборками по бокам.
Какой конфуз!

Но не все ль равно?
Налялил юбку
и — шасть в окно.

Глава шестая

Как тянет к солнцу
упрямый ствол
сила влаги
и горьких смол,
так человека
ведут в ночи
первой
и ясной любви лучи.
Льет ли
назойливый дождь с высот,
ветер ли понизу
пыль несет,
ярко витают
в плену мечты
первой
и ясной любви черты.
Как тесную завязь
прорвавший лист
радует видом,
упруг и чист,
так неизменно чиста всегда
первой
и ясной любви звезда.

* * *

Напасть идет по следам, как тень.
Александра выгнали в тот же день.
Медью

три целкаша на круг —
и взятки
 гладки
с хозяйских рук.
Хозяин топнул ногой о порог:
— Чуть не запрятал меня в острог!
Стыд сказать,

 воспитал орла...
А что, если б барыня померла?! —
Алексашка и сам-то

 понять не мог,
кто генеральше
 и чем помог.

Путаясь в мыслях,
 гремя деньгой,
шел он по улице
 по Ямской.

Шел, не оглядываясь назад,
куда глядели его глаза.
Знакомое дело —
 назло судьбе
шагать,
 не думая о себе.

А день
 уже угасал и мерк,
стоило только
 взглянуть наверх,
в пасмурный купол небес, туда.

где бледная
вспыхивала звезда.
Москва,
как вчера и позавчера,
опять становилась
темна и сыра.
Можно кружить по ней,
кочевать,
но где-то ж надо в Москве ночевать?
«Где-то, и «хоть бы»,
и «как-нибудь» —
самый проклятый
и горький путь.
Лихая недоля туда вела —
Драчевка в старой Москве была.
Хитрову рынку — прямая родня,
стояла Драчевка
как западня.
И весь ее вид,
от лаптей до сусал,
как бы заманивал
и зазывал:
«Кто там еще не увяз,
не зачах?
Спешите
к угоднику на Драчах.
Кого там еще
не полутал грех?
Идите, хватит меня на всех!»
Москва погружалась во тьму.
Дрожа,
вышли на улицу сторожа.

* * *

Много на свете
 кривых дорог,
где б человек голодал
 и дрог.
Много несчастий
 и много бед,
но горше ночлежки
 на свете нет.
В дымном от сальных свечей свету
по эту сторону
 и по ту,
на нарах,
 навытяжку,
 без рубах,
лежали ночлежники,
 как в гробах.
От серых стен
 отличим с трудом,
висел над ними
 с раскрытым ртом
в спертom воздухе,
 в духоте
лик Спасителя
 на кресте.
И страшен был,
 угодив на крюк,
Христос,
 отделившийся от дерюг.
И самый набожный человек
к нему
 не поднял бы тяжелых век.

Здесь были все,
кто дружил с тюрьмой,
с ножом,
с «казенкою» и с сумой,—
все, кто свихнулся
и обнищал,
все, кто согнулся
и отощал,
всякий,
кто, потеряв покой,
духом пал
и махнул рукой.
Вон тот,
который глядит в упор,—
каторжник беглый,
бандит и вор.
А тот вон,
который с лица землист,—
бывший павчий,
теперь морфинист.
Этот,
что в бабьи чулки обут,—
в прошлом доктор,
а ныне — плут.
Все, кто крепился еще вчера,
теперь пропойцы и шулера.
Куда ни сунься,
куда ни глянь,—
слезы и горе,
гниль и рвань.
А там, возле печки, у всех на виду,
плюнув с досады
в глаза стыду,



подмыв под себя из рогож щиты,
сидели
 женщины нищеты...
Старые, юные,
 разных лет.
И на каждом лице — невеселый след
слабых,
 без толку растрченных сил,
резких румян
 и густых белил.
Александр глядел на них
 в первый раз,
на тусклый блеск
 их запавших глаз.
Глядел и слышал,
 как холодок
шел от спины
 и до самых ног.
Где ему тут завестись, таплу!
Место себе
 отыскав на полу,
свернувшись
 на тонкой кошме в комок,
лег Александр,
 но заснуть не мог.
Трижды ворочал кошму, потом
лег на рваный зипун животом,
потом
 попробовал на боку...
И вот ощутил Александр тоску.
Дурная,
 идущая из нутра,
она начиналась еще с утра,

и стало понятно,
что двух минут
ему не пробыть
и не выжить тут.
Куда угодно
хоть в пекло, в ад,
но только не здесь,
где живьем смердят
В ушах начинался
какой-то звон,
Александр поднялся
и вышел вон.
Сверху и донизу,
как могла,
его прохватила
ночная мгла,
и все же казалась ему она
куда приятней
и слаще сна.

* * *

Огромный город.
Чужой и злой.
Сидит на совке
человек с метлой.
Мотала,
водила судьба впотьмах
и вот посадила
с метлой в руках.
А время летит,
закусив удила.
Зима миновала,
весна пришла,

бродит Москваю
из края в край
теплый,
безветренный месяц май.
Дворник в Москве —
невысокий чин.
Особо доводить —
нет причин.
Выметешь, выскоблишь раз до пяти,
глянешь назад —
и опять мети.
Сидит человек
на скамье с метлой, —
сидит,
будто город смахнул полой:
не видит,
не слышит вокруг ничего —
острая грусть доняла его.
Кто он? И что он?
Бобыль? Босьяк?
Всяко выходит:
и так и сяк.
Пойди плутать по Москве по всей —
нет ни товарищей,
ни друзей.
Кто же все-таки есть на земле?
Мать?
Но она далеко, на селе.
Сестры?
Уже подросли небось...
Там же по людям,
и там же врозь.

Отца погубило совсем вино.
Нет из деревни
вестей давно.

Куда пойти?

На какой улов?
С кем перекинуться парой слов?
Вот он тряхнул головою, встал.
Сложенный вдвое

листок достал.
И вдруг улыбнулся. Давным-давно
парню

не было так смешно.
Сколько он раз
по складам читал
этот листок

и обратно клал!
Держал в сундучке,
в картузе носил,
а вот потерять

не хватило сил.
Все колебался,
не слал письма,
попусту только сходил с ума.
Без толку, как говорят,
без пути...

А что бы решиться туда пойти!

* * *

Вот он, вот он,
знакомый дом
за бульварами,
над прудом!

Что-то замер собачий лай...
Не гадай, Александр, валяй!
Ближе

к каменным воротам —
что приметно, что видно там?
Затруднение невелико:
ты узнаешь ее легко
по прошивкам

на рукавах,
по переднику
в кружевах.

Не теряйся
и не моргай,
как увидишь —
так окликай.

Тихо, тихо,
не тронь засов,
не вспугни
оголтелых псов,
осторожно,

едва дыша,
не волнуясь и не спеша.
Вот он, вот он,
знакомый дом

за бульварами,
над прудом!

Вот он, вот он,
знакомый двор —
не забыл его до сих пор.
В легких шлепанцах
и в чепце
дремлет барыня на крыльце,

рядом с нею,
 сосясем вблизи,
забинтованная Зизи.
Кто-то из дому
 вышел в сад,
кто-то в дом
 поспешил назад...
Вот он, вот он,
 мелькнул льняной
белый фартучек кружевной.
— Настя! Настенька!
 (Ну, дела,
обернулась, не поняла...)
— Настя! Настенька!
 (Поняла!
Вся зарделася, подошла.)
— Ты чего?
— Да я, вишь, того...
— Ты зачем?
— Да я, вишь, затем...—
Толку мало при ворожбе.
— Ты к кому?!
— Как к кому? К тебе!

* * *

Весь в смятенье
 воскресный день.
Все, что лучшее есть,—
 надень:
все, что добыл
 и приберег,
подбоченься —
 и за порог!

С первым утренним ветерком
до Сокольников

прямиком

тащат конку

две лошаденки.

(Лучше б было дойти пешком!)

Ах, Сокольники вы мои!

Куст черемухи у скамьи.

Ах, назначенный в первый раз

дорогого свиданья час!

Дальше!

В самую глушь стволов.

Там, где

тонкая трель щеглов.

В поднебесье

уходит бор.

Смех...

Гармоники перебор.

Дальше! Дальше!

Вон к той сосне,

разметавшейся,

как во сне,

встречным парам наперекор,

вдоль по просеке,

на бугор.

Под сосною

табачный лист

мнет напудренный гимназист.

— Место занято...

Так что шиш!

— Нет уж, барин,

не с тем шалишь!

— Вы нахальничать?..

Я готов!..

— Хватит, барин, на всех местах...

— Не для ваших ли

милых дам?

— Убирайся...

а то как дам! —

Вот и Настя.

Пробор косой,
принаряженная, с косой,
полушалочек нараспах —
весь в горошинах и цветах.
За версту

красоту видеть.

Городская

у Насти стать,
затаенный

лукавый взор,
с подковыркою разговор:
— Не хотите ль конфет, мусье,
называются...

«монпансье»?! —

Под ресницами —

хитрый свет:

дожидается,

что в ответ.

Только хитрости тут на грош,
Алексашку

не обойдешь.

— Отчего же...

всегда готов.

не едал...

вот уж сто годов! —

Алексашка не то слышал,
сразу действует

напозал:

— А хотите... взамен «эклер»?!

— Ух, ты! Тоже мне... кавалер! —
Как приятно

глядеть вдвоем

в серебящийся

водоем,

слушать

медленную струю

у песчаника на краю!

Ой, как боязно

и смешно

забираться в овраг, на дно,

заплутаться,

упасть в траву,

громко-громко

кричать: «Ау!»

Как забавно

без цели вдруг

вырываться из крепких рук,

в росах

вымокнуть до колен

и опять попадаться в плен!

— Скажи, Настюша,

с тех самых пор,

когда я в окошко

махнул, как вор,

меня ты в памяти берегла?

Ждала ты меня или нет?

— Ждала!

Ой, Сокольники вы мои!
Куст черемухи у скамьи,
легкий шелест
весенних струй
и начаянный поцелуй.

Глава седьмая

Закрой, завесь,
наложи запрет —
для юности в мире запретов нет.
Жадное ухо
и глаз-дальномет
все одолевает,
увидит, поймет.
Попробуй
юность одень в тряпье —
все равно
не отыщешь прекрасней ее.
Книги лиши,
отбери тетрадь —
по вывескам выучится читать.
Тем яростней юность,
упорней, верней,
чем больше нежданных
преград перед ней.

* * *

Устал Александр
в услуженье жить,
третью весну
по дворам кружить.

То подметальщик,
а то коновод.

Решил
пристроиться на завод.
Еще на заре

собирался народ
возле тяжелых, литых ворот.
Кто в опорках,

а кто в лаптях,
сотни заплат

на худых локтях.
Подрядчик что-то не шел.

Толпа
стояла, безропотна и тупа.

Метнул Алексашка
пятак со зла:

«решку» ждаты?
Или ждаты «орла»?

Неужто по людям ходить опять?
...Эх, найти бы

тысчонок пята!
Купить бы дом, завести собак,
позвать бы Настю,

сказать: «Ну, как?»

Дивится Настя!
Глядит, робка,
откуда дом

у ее дружка?
А он хоть бы что!

Голенища — хром,
ведет подругу
в просторный дом,

подносит ей там
кружевной наряд...
Дивится Настя.
Глаза горят.
Открыл Александр
потайной ларец:
сколько там бус,
дорогих колец!
Сыплются к Насте
со всех концов
реки орехов
и леденцов...
Дивится девица,
дружку в ответ
пылают щеки,
как маков цвет.
Стоит дружок —
ноги рвутся в пляс,
прищурил карий
довольный глаз:
всем владей,
весела бывай,
только люби
и не забывай!
Метнул Алексашка
пятак со зла:
«решку» ждать?
или ждать «орла»?
Выходит «решка» —
плохая весть...
Подрядчик крикнул:
— Котельщик есть? —



Молчит народ,
онемел народ,
словно паклей
забило рот.
Работа рядом —
чего гадать?
А котельщика не видеть.
Алексашка подумал:

«Была не была!»
Метнул пятак — увидал «орла»,
зажал монету в руке
плашмя
и крикнул подрядчику громко:
— Я!!
— Ты? — удивился подрядчик, —
Вишь,
какая птица, мочена мышью.
Завистливым взглядом
на этот раз
его провожали десятки глаз.

* * *

Привели молодчика,
как на грех,
на испытание
в котельный цех.
Старший мастер
Данил Пучков
глянул на парня из-под очков:
— Не знаю,
какой тебя ляд прижал,
но, вижу, зубила ты не держал.

подносит ей там
кружевной наряд...
Дивится Настя.
Глаза горят.
Открыл Александр
потайной ларец:
сколько там бус,
дорогих колец!
Сыплются к Насте
со всех концов
реки орехов
и леденцов...
Дивится девица,
дружку в ответ
пылают щеки,
как маков цвет.
Стоит дружок —
ноги рвутся в пляс,
прищурил карий
довольный глаз:
всем владей,
весела бывай,
только люби
и не забывай!
Метнул Алексахка
пятак со зла:
«решку» ждать?
или ждать «орла»?
Выходит «решка» —
плохая весть...
Подрядчик крикнул:
— Котельщик есть! —

Молчит народ,
 онамел народ,
словно паклей
 забило рот.
Работа рядом —
 чего гадать?
А котельщика не видеть.
Алексашка подумал:
 «Была не была!»
Метнул пятак — увидал «орла»,
зажал монету в руке
 плашмя
и крикнул подрядчику громко:
 — Я!!
— Ты? — удивился подрядчик. —
 Вишь,
какая птица, мочена мышью.
Завистливым взглядом
 на этот раз
его провожали десятки глаз.

* * *

Привели молодчика,
 как на грех,
на испытанье
 в котельный цех.
Старший мастер
 Данил Пучков
глянул на парня из-под очков:
— Не знаю,
 какой тебя ляд прижал,
но, вижу, зубила ты не держал.

А вот характер мне твой по плечу...

Я тебя, сокол мой, научу!

Как тебя звать-то?

— Лександр пока.

— Ну-ка, Лександр,

подставляй бока! —

Черен и дымен котельный цех.

Катит по рельсам

железный смех,

бродят огромные,

как дома,

с цепи сорвавшиеся грома.

Красною тучею

чад плывет,

длинных молний

кривой полет.

Удар за ударом,

и вновь удар.

Рвется наружу

горячий пар.

С присвистом лезет

бог весть куда

в трубы посаженная вода.

Снует, хлопочет рабочий люд,

струйки пота

по лицам льют.

За пять минут

от подобных дел

Александр,

как на пахоте, пропотел.

На каждый взятый

заказ-подряд —

труда

двенадцать часов подряд.

Бей, не жалей,

добывая деньжат,

покуда поджилки не задрожат.

В первый же день

Александр узнал,

где и какой

соблюдать накал,

как выводить

по листу вперед

жарких заклепок

прямой черед.

Где хитрецей,

где умом проник...

— И впрямь мастак,

а не ученик! —

шутил Данил. —

Золотѧ рука! —

Но тут загремел

долгий бас гудка.

Смена кончалась.

Густой толпой

народ повалил, как на водопой.

Однако

спешка была ни к чему,

в проходе

обыскивали по одному.

Люди шли к выходной рядком

и повертывались кругом,

правой рукой отдирали зло

к телу

прилипшее барахло.

Женщины взвизгивали,
с трудом
борясь с подступающим вдруг стыдом.
Розовый сторож
почтенных лет,
как граммофон,
хохотал им вслед.

Александр
очутился у проходной,
мрачный,
с опущенной головой.
— Чего стоишь?

Чай, не из дворян,
давай поворачивайся, барани!
— Я еще сроду не крал... Холуй!
Так что ты со мной
не балуй! —

Рванул рубаху,
крепясь едва,
так что она раздалась вдоль шва.
— Экой... Какой ты! —

баском грудным
сказал Данил, поравнявшись с ним. —
Нашел, где топыриться поперек,
ты бы силенку-то
поберег...

Попьем-ка лучше
чайку вдвоем!
— А где же пить?
— У меня,
— Пойдем!

Зайдя к Даниле
 «попить чайку»,
Александр
 не паречил уже старику.
Сбегал за сеном
 на сеновал,
снял сапоги
 и заночевал.
Утром проснулся —
 гудок зовет.
Сено — под лавку
 и — на завод.
Вечером снова пришли вдвоем,
да так и зажили
 день за днем.
Работа вместе,
 и кров один,
любо смотреть:
 как отец и сын.
Отвык Алексашка
 давным-давно
бегать в лавку,
 варить пшено.
Пусто и змуро
 житье тепло,
а тут вдруг стало
 тепло-тепло.
Придат свободный денек,
 Данил,
смотришь, уж чайничек вскипятил.

Характер ласковый

и прямой.

— Проспишь свиданье-то,

сокол мой! —

Такой разговорчивый старикан —

моя ли

в теплой воде стакан,

трубку ли тянет,

сидит ли ест, —

все дознается:

с каких, мол, мест

много ль батрачил?

С каких годов?

Много ли было

в семействе ртов?

Вынь из души

да на стол положи,

что позабылось —

и то расскажи.

— Все любопытствуешь...

А к чему? —

сказал как-то раз Александр ему.

И тут Данил,

не допив глотка,

можно сказать,

подкосил дружка.

Двери прикрыл,

привалил поднос

и строгим шепотом произнес:

— А все к тому, соколинка моя,

что с роду

Данилом-то не был я...

Я Афанасий!
А братец твой
вместе со мною
ходил в забой,
вместе страдали...—
Припав к стене,
застыл Александр,
как в тяжелом сне.
Детством пахнуло
со всех углов,
в горле першило
от этих слов.
— Дядя Данила!.. А дядь Данил!
Я ведь братишку-то схоронил..
— Знаю..
А ты не шуми, не того..
Время настало отмстить за него! —
Допил стакан,
сполоснул в тазу
и тихо добавил,
смахнув слезу:
— Вот и выходит,
соколик мой,
путь-то у всех нас один,
прямой!

* * *

Близилась троица.
Шумом затей
приветствовал троицу богатей.
Здорово,
стало быть, был грешен,

коль не жалел
никаких мошон.
Жиром лоснился
Охотный ряд,
в рыбьем духу
и в пуху курят.
Млели купчины,
воздав хвалу
Параскеве Пятнице
на углу.
Настина барыня,
как могла,
все свои комнаты
убрала.
Шелест березок
и алых роз...
А вихрь забастовок
крепчал и рос.
Биржа труда,
как ночлежный дом,
опять превратилась
в сплошной содом.
Пешие, пыльные,
каждый день
люди валили из деревень.
Время весенних работ прошло.
Солнышко жарило и пекло.
Алексашка с получкой пришел домой
неразговорчивый,
как немой.
— Что, маловато? —
сказал Данил.—
Может, на улице обронил?

— Да мне-то что!

Я и так ходок,
хотел в деревню послать чуток...

— В троицу, сокол мой,
нет обид.

А кто же престолу-то пособит?
Отцу-царю

двадцать пять полтин,
да наследнику-сыну один алтын,
да министрам царя,
считай, четвертак.

А тебе зачем?

Ты богат и так!

Эх, Сокольники вы мои!
Куст черемухи у скамьи.
Только нету на этот раз
длинных кос

и лукавых глаз.

Вместо Насти

к сосне, во тьму,
собираются по одному
люди в кепках

и в картузах,
в черных стоптанных сапогах.
Всё свои.

Весь котельный цех.
Алексахна их знает всех.
Для близира несут гармони:
дескать,

без толку нас на троны!

В четырех боевых местах
восемь стёганок на часах.
Алексашка и сам стоит —
с перепоя, мол, этот вид.
Разлохматился,
куртку снял,
что ж, мол, сделаешь,
загулял!

Зорко смотрит
мастеровой:
не мелькнет ли
городовой?

...Ох, уж этот
троицын день!
Раздобыть бы себе кистень
да, ни слова
не говоря,
протолкаться бы до царя.
Что ж, мол,
батюшка-государь,
или надобно вам фонарь?
Иль ослепли вы:

с малых лет
ведь житья-то

народу нет!
Люди бедстауют,
люди мрут,
у людей —
непосильный труд.
Погибают
по кабакам,
по подвалам
и чердакам.

Нету просвету для людей,
нету хлеба для их детей.
Только каторга

да тюрьма,
только нищенство да сума.
Я вас

попусту не корю:
я вам правильно говорю,
что ослепли вы!

с малых лет
ведь житья-то рабочим нет.
Хоть, к примеру, возьмем меня:
не припомню светлого дня —
с девяти годов в батраках,
с подаянным рублем в руках.
Как же смотрите вы,

когда
рядом здравствуют господа,
забавляются меж собой,
отжираются на убой?
Почему

мой родной отец
раньше времени не жилец?
Отчего же,

жизнью не рад,
удавился

старшой мой брат?
Что ж вы,

батюшка-государь,
в горностаевой шубе тварь,
в золоченой корона зверь,
не ответите мне теперь?
Тут, наверно, сказал бы царь:

«Разошелся!

 Попробуй вдарь!я
Ох, ни слова б не говоря,
взять и вдарить того царя!..
Замечтался...

 Куда хватил!
Вот пришел наконец Данил.
— Ну, пора начинать, кажись?
Собрались все?
— Собрались!

До предела напряжена,
пахнет зеленью тишина,
расколовшеюся, сырой,
терпкой

 осиновой корой.
Редко-редко

 издалека
долетит перекат гудка,—
тело длинное распластав,
пассажирский пройдет состав.
Оглянулся Данил, привстал:
— Ну, товарищи,

 час настал...
(Сжата до боли ладонь в кулак,
грозного чувства

 суровый знак.)
Москва в огне!

 С Воробьевых гор,
с Москвы-реки

 вот до этих пор.
Огня не загасишь,
 хоть лей не лей...

Фабрика Цинделя и Бромлей,
заводы Кейгер и Людвиг Смит —
народ недовольтвует и шумит.
Хватит слушать

по сторонам.

Все бастуют,

пора и нам!

У всех у нас

один разговор:

кончай работу —

и марш во двор.

Будьте, товарищи, начеку,
завтра, товарищи, по гудку! —
До предела напряжена,
пахнет

зеленую тишину.

Хоронясь за листвою,

во тьму

люди расходятся по одному.

Люди в кепках

и в картузах,

в черных стоптанных сапогах.

Всё свои.

Весь котельный цех.

Алексашка их знает всех.

Глава восьмая

Юность!

Она как мечты разворот,

как стель, —

который мороз не берет.

Согни в три дуги —

как певунья струна,
воспрянет и выпрямится она.

Запри на десять

глухих замков —
нет для нее никаких оков.
За десять решеток

ее посади —
решетки останутся позади.
И снова юность

пойдет, честна,
всепобеждающая,
как весна.

Вперед,

дорогою заревой,
навстречу радуге дождевой.

* * *

День забастовки настал.

С утра
чернорабочие и мастера,
уже ничего не желая скрывать,
сошлись у конторы митинговать.
Гроза нарастала сама собой,
глухо и сдержанно, как прибой.
Еще не веря своим глазам,
управляющий

вышел сам:

— Кто просил, интересно, вас
ко мне являться в рабочий час? —
Данил возник как из-под земли:
— Никто не просил!

От себя пришли! —

Достаточно было ответить так,
чтоб тут же немедленно вырос бак,
на нем,
опрокинутом кверху дном,
парень в ватнике продуваем.
— Зря, господин управляющий, зря
волнуетесь,

собственно говоря:
неинтересно нам,
кто нас звал,
интересно,
кто нас обворовал! —
Гневно и весело

парню вслед
толпа подхватила
прямой ответ:

— Расценки набавь!

— Почини жилье!

— Робы нет,

извелось белье!

— Потом разберемся, кто будет прав,
сперва отмени понедельный штраф!

— Да что с ним балясничать...

— Дармово!

— Давай хозяина самого! —

Многолик, многорук,

упрям,
народ подался к входным дверям.
Управляющий

адрогнул и оробел.

Стоит

молчит, безъязык и бел.

Вместо него вдруг заговорил

старший табельщик Гавриил,
как всегда, юродствуя и визжа
(известный гадина и ханжа):
— Господа рабочие!

Ерунда-с!
Конечно, всем нам хозяин даст.
Одну секундочку, господа,
вон он...

как будто идет сюда!
Идет кормилец наш, голубок...—
Сотни голов повернулись вбок.
И верно,—

стремительны и легки,
цокали звонкие каблукки.
Но шел не хозяин, фон Беренбах,
а пристав

в лаковых сапогах.
За приставом
топал, как на парад,
усиленный
полицейский наряд.

Гладкие,
рослые, как каланчи,
шли жандармские усахи.
Наступило безмолвие.

С давних пор
не слышал такого безмолвия двор.
Наконец пригнувшийся, словно рысь,
пристав выкрикнул:

— Р-р-разойдисы! —
И вновь безмолвие.

И вновь покой.
Лишь редкого кашля порыв сухой...

— Разойдись, говорю! —

кобурой скрипя,

рявкнул пристав,

уже хрипя.

И вдруг

неожиданно поперек —

Алексашкин шелковый тенорок:

— За свой стоим

за рабочий грош!

Мы не скотина,

чего орешь?.. —

Пристав, словно сглотнув релей,

шепотом подал команду:

— Бей! —

Но люди похлестче видали дела,

рабочих оторопь не взяла,

а кто попроворней и половчей,

тот первый ударил на усачей.

Но тут,

заглушая возню и рык,

«Казак!» — чей-то раздался крик.

Стало понятно:

пришла беда.

Рабочие бросились

кто куда.

Самой надежной из тайных нор

считался

запущенный задний двор,

там, где лежали на полверсты

железные ломаные листы.

Алексашка уже подбежал к листам.

Осталось только вскочить —

и там!..

Вскочил.

Оглянулся. А позади,
с крестами-медалями на груди
(толстая вяя, видать, силач),
насел на Данилу лихой усач.
Алексашка с разбегу и сгоряча
верхом

уселся

на усача.

— Беги, Данила!.. —

Но в этот миг
откуда-то издали, напрямик,
вломилась в самую глубь двора
рыжая скачущая гора.
Сытый и цветом — сплошной огонь,
сбил Алексашку казацкий конь.
Сграбастали парня

с сырой земли,

скрутили руки

и повели.

* * *

В каждом участке —

свой каземат;

густо висит

полицейский мат;

свадьбы мокриц,

да угар свечей,

да ржавый,

простуженный стон ключей.

Сколько часов

в пустоте легло?

Все туманом заволокло.
Сутки одни?

Или целый год?
Сбился времени ровный ход.
Страшно сидеть

одному, натошак,
ноги вытянув на дощак.
Ни капли хоть бы сырой воды.
Ни крохи хоть бы сухой еды.
Тошнит и тянет,

мутит и вертит.
Хуже раны и злее смерти.
«Ну, решили, дозрел, дорос!»
На пятые —

вывели на допрос.
Полицейский следователь сидел,
тихо склонившись над кипой дел,
тонкою ленточкой перевитых,
розовых, в зайчиках золотых.
Квас в графине... халва... табак.
— Садитесь!

Ваша фамилия как? —
(Вот они, стражники, каковы!
Дожил, значит, зовут на «вы»!)
Алексашка,

еще не теряя сил,
сразу начальника раскусил:
уж больно вежлива,
добра поди
от этой вежливости не жди.
— Фамилия моя Черенок...
— А звать?
— А звать Александром.

тяжело...

— Итак, значит, сведений ты не дашь?
— Все побежали... и я туда ж!

Все было кончено.

Будто мел,
побелел начальник
и помутнел:

— Не с этой карты пошел на туза! —
и выплеснул квас Александру в глаза.
Как по сигналу,

из-за стены
вспыхнули желтые галуны —
двое конвойных,

два вахлака,
четыре надраенных кулака.
Алексашка не чувствовал, как потом
его избивали. С зажатым ртом
очнулся он после уже, в углу,
в общей камере на полу.

* * *

Настя! Настенька!

За спиной
полушалочек раскидной...
Не тянули тебя силком,
ты сама пришла с узелком.
Ты сама пришла,
ты сама,
чуть в тоске
на сошла с ума.
Потеряв над собою власть,
истомилась и извелась.

Ты опомниться не могла,
как разлука жестка и зла.
Ни до сна тебе,

ни до дел —
мир померк

и осиротел...
Только что это? Посмотри:
заключенные ждут внутри,
а его провели тайком
мимо стражника напрямиком.
Значит, приговор?

Без суда?!

Нет, не то...

Он идет сюда...
Как он сгорбился,
как погас
милый блеск его карих глаз.

— Саня!
— Настенька, это ты?
(Дорогого лица черты,
нету живости в них следа.)
— Отпустили на волю?
— Да...

Ослепительн говор дня:
воробьиная стрекотня
и знакомый,

почти до слез,
запах пыли

и стук колес.
Как стремительно льют лучи —
попытайся-ка отличи:
то ли облако в небесах,

— Крепко любишь?

— Крепчей себя...—

Голос нежен, но речь тверда.

— Долго будешь любить?

— Всегда!

— Я ведь, Настя, теперь такой:

до острога подать рукой.

Не боишься?

— Не побоюсь!

— Поклянися тогда!

— Клянусь! —

Разве может пресечь надуг
двух сердец торопливый стук?

Разве можно согласья нить
разорвать и разъединить?

Если радуются враги —

пережди и превозмоги.

Через камни,

сквозь темень, аброд,—

не сдавайся —

иди вперед.

Зубы сжав,

губу прикусив —

будь упорен и горделив,

Не сдавайся!

Глаза протри

и на солнышко посмотри!

Вон как тополь шумит сквозной,

окаймленный голубизной.

Вон как ветер в листья гудёт...

А удача

— она придет,

Глава девятая

С густо-багровым закатом сходен,
горьким дымком потянул горизонт...
Вызвали. Спешно сказали: «Годен!»
И через месяц —

я вагон, на фронт.

Дамы с левкоями.

Всхлип гармони.

Гром котелков.

Стукотня сапог.

Старушка какая-то на перроне,
шепот молитвенный: «С нами бог!»
Данил, проводивший немым поклоном,
словно замкнутый на засов.
И Настя, бегущая за вагоном
и где-то отставшая у часов.
И дальше —

депо,

семафор с флажками,

шлагбаумы,

будочки, леса...

Пока не простерлась под сапогами
земли прикарпатская полоса.
...Мало чего сохранила память:
взрывы...

конный австрийский строй,
прямо на пули летящий внамять,
да воздух отравленный и сырой.
А после уже —

не поднять ресницы.

Озноб, горячка,
трехдневный бред,
неодолимая боль в пояснице
и тихий до ужаса лазарет.

* * *

Кудрявый, бледнолицый,
один, пешком,
шел солдат с позиций
в тени, тайком.
Шел речкою, и скотом,
и вдоль леска.
И рядышком с солдатом
брела тоска.
Нельзя глядеть без боли
(прошел бы, слеп!),—
напаханое поле,
не убран хлеб.
Стоят у переправы
который год
нескошенные травы,—
зарезан скот.
Откуда по низовью
стоит вода?
То, видно, слезы вдовьи
стеклись сюда?
Промоины, ухабы
да костяки.
Навстречу только бабы
да старики:
— Не слышал ли, солдатик,
братка моего?

— Не видел ли, солдатик,
сынка моего?
— Не встретил ли, солдатик,
дружка моего?
Жив ли он, касатик,
аль нет его?
— Скажи, скажи, служивый,
любезен будь,
куда же ты, служивый,
свой держишь путь?
— Скажи, скажи, солдатик,
до коих пор
терпеть нужду, солдатик,
нужду и мор?
— За что, за что горюем,
скажи, скажи?
За что, за что воюем,
скажи, скажи?
— Еще скажи, солдатик,
с каких ты мест?
За что тебе, солдатик,
надели крест?!

Пригубив ковш с водою,
достав кисет,
служивый чередою
давал ответ:

— Слышал, слышал я, малый,
братка твоего.
Солдат он был удалый,
да нет его.

Видал, видал я, девка,
видал дружка,
да кончился он, девка,
от сыпняка.
А я скажу, изведав,
воюем зря:
за разных мироедов
да за царя.
Врага-то мы раздавим!
Не побежим!
Да только надо, бабы,
менять режим.
А то, прямой скажу я,
бои пройдут.
Опять зажмут буржуи
рабочий люд.
Терпеть от них мы будем
до той поры,
покуда не рассудим
да в топоры!
А топаю в Москву я,
войну клянусь,
чтоб новую, другую
начать войну!

Поведал, отряхнулся,
дымок пустил,
к дороге повернулся —
и след простыл.
Обходит куст служивый
да мнет траву,
идет, идет служивый,
идет в Москву.

То речкою, то скатом,
то вдоль ласка.
И рядышком с солдатом
бредет тоска.

* * *

Нету поддержки казенной преграде,
нету замков для народной молвы:
все, что вершится в самом Петрограде,
ветром доносится до Москвы.
Рваный пиджак, кацавейка и китель.
И вот вам уже разговор у крыльца:
— Слышали... Керенский?
— Тоже... правитель!
В бабьих чулках убежал из дворца! —
Толпа разрастается.
— Батюшки-светы!
Отколь это их на крыльцо натекло?
— Власть, говорят, уже взяли Советы...
— Господи боже мой!
— Что? Припекло?
— Все это только лишь слухи и слухи,
толку не вижу я в этих речах!
— А ты бы цепочку-то спрятал на брюхе,
вишь, как расперло на наших харчах!
— Гроб буржуйм!
— А нельзя ли без крика?
— Теперь, брат, не больно возьмешь под конвой!
— Раненько хоронишь! А ну, повтори-ка...
— Да нас не спужавшь! Мы с головой! —
Утром еще зажигали лампы,
болтали и жили нуждою мирской,

а вечером встали уже баррикады
подле Садовой

и вдоль по Тверской.

Купецкая,

волчья Москва не сдавалась.

В наемные банды деньгу обратив,
белея от злобы, она огрызалась,
рычала и выла, судьбе супротив.

Все потемнело —

бульвары и скверы,
лабазы и церкви,

и мост над рекой.

С одной стороны —

юнкера и эсеры,
солдаты и сотни рабочих —

с другой.

И надо же было, чтоб этой неделей,
заброшен войною почти за предел,
кудрявый солдатик в помятой шинели
с далекого фронта сюда подоспел!

★ ★ ★

В Москву Александр прикатил
на рассвете.

Тревожной и хмурой застал он Москву.

Не верил солдат, что события эти
его окружали уже наяву.

Вот оно где начиналось, счастье!
Первым желанием было — скорей
найти и увидеть Данилу и Настю.
Но где?

У каких неизвестных дверей?

Пойти к Патриаршим?

Но после восстания
едва ли у барыни Настя живет.
Свернуть на Лесную, где были собранья?
Нет, лучше, пожалуй, пойти на завод.
Укрытый шинелью и утренней дымкой,
с оглядкой минув любой поворот,
сторожко и тихо, почти невидимкой,
дошел Александр до знакомых ворот.
Ни лязга, ни грома котельного цеха,
ни жидкого дыма высокой трубы.
Лишь галочий спор

да короткое эхо
начавшейся вдруг отдаленной стрельбы.
Откуда летел этот отзвук-задира,
с какой стороны этих залпов обаял?
...У Марьиной рощи,

напротив трактира,
кадетский патруль Александра догнал.
Храпит под румяным юнцом вороная.
Надулся юнец:

— Где изволил бывать?!

— С войны... на побывку...

— А где отпускная?

— Не верите, что ли?

— Арестовать! —

Кокарда,

«георгий»,
погоны с дырою,
но все-таки что-то герой не того...
Прижали к стене,

обыскали героя
и молча погнали к Бутыркам его.

* * *

А залпы крепчали, как свежие вести.
И понял солдат и прикинул в уме,
что лучше уж быть пораженным на месте,
чем в эти часы оказаться в тюрьме.
Чего дожидаться?

На голой панели
лишь поздней капли немой перебор...
Рывком

отделившись
от влажной шинели,
с разбегу
махнул Александр за забор!
По стенке,
за каменный дом,
за деревья.

(Пока там кадеты ударятся в сад!)
Без страха!

Как в детстве, бывало, в деревне,—
бежать что есть духу,
не глядя назад!

Отстали, отстали юнцы!
За ветрами,
за мелким дождем заблудился свинец.
Глухой стороной,

проходными дворами
к Садовой пробился чернявый беглец.
Стрельба уже шла где-то под боком, рядом.
В укрытых местах завязались бои.
На риск подбежал Александр к баррикадам,
не зная еще, где лежали свои.

Диваны...

Столы...

Переборки...

Перила...

Бочата с песком...

Подставные леса...

И тут-то судьба Александру открыла,

что все-таки есть на земле чудеса.

Ветром гонимый

и гневом влекомый,

замер солдат

за колонкой с водой:

чей это, чей это образ знакомый,

кто это бравый такой и седой?

Следя, как уходит заряд за зарядом,

Данилу узнал Александр в старике.

Данила лежал с пулеметчиком рядом

с большим вороним пистолетом в руке.

Миг —

и друзья обнялись, как родные.

Вспыхнул людским ликованием редут,

мечутся отблески огневые,

пули свистят, и улыбки цветут.

Пули,

однако,

все чаще и чаще.

Голос их тонок,

и путь их упрям.

Видно сквозь дождика мелкую чашу —

сбоку подмога пришла к юнкерам.

Трудно усилить огонь обороны,

гаснет огонь, как его ни крепи,

нечем стрелять, иссякают патроны.

Холод тревоги прошел по цепи.
Встал Александр на перила ногами.
Голос солдата свивается в жгут:
— «Вихри враждебные веют над нами,
темные силы нас злобно гнетут!»
Дружно, товарищи!..—

Грянула песня,
а с песней и пули врагов нипочам.
Город услышал!

Откликнулась Пресня.
Бей их камнями!

Глуши кирпичом.
Поднял Данила кровавое знамя:
— Лучше умрем,

чем отступимся тут!
— «В бой роковой мы вступили с врагами,
нас еще судьбы безвестные ждут!..»
Вон они как подались, юнкера-то.
Бей их прикладом!

Свисти им вдогон!
Крой их штыками!

Круши их гранатой!
Гни их к земле за кадетский погон!
— Дружно, товарищи! Весело, братцы!
Пейте, кадетики, краску кармин!
Что теперь скажут охотнорядцы?
О ком у заутрени справят помин?
Пожили! Хватит!

Из тонкой посуды
попили, выпили кровушки всласть!

...С гордой душой на десятые сутки
город приветствовал красную власть.

Глава десятая

Расправила только республика плечи,—
грозя изнутри, на границы нажав,
пошла на республику

белая нечисть
и жадная знать

иностранных держав.
Едва только вольное знамя простерло
над гордой землей

молодые крыла,—
схватили республику нашу за горло
холод и голод,

разруха и мгла.
Угрюмая даль помутневшего неба,
безмолвье в цехах

и вода в рудниках,
осьмушка махорки

и черствого хлеба,
тревога в душе

и винтовка в руках.

* * *

— Ты покрепче мне, подруга,
завари прощальный чай.
Расставаясь, на супруга
ты, подруга, не серчай!
Вспомни,

вспомни, дорогая,
подмосковную луну,
запах сосен, ветер мая
у Сокольников в плену.

Первый камешек неровный,
первый лепет:

«Не балуй!»

Первый шепот любовный,
первый

робкий поцелуй.

Не сердчай,

что за признанья
мало я благодарил,
что одни лишь

расставанья

я тебе в ответ дарил.

Выйдет время,

стихнет ветер.

отгремит последний бой,

ни за что тогда на свете

не расстанемся с тобой.

Ни другой

и ни другая

нам не встанут на пути...

Вспомни клятвы, дорогая,

обними —

и отпусти!

— Сядь ко мне, мой друг, поближе,

на любовь свою взгляни.

Подойди же,

подойди же,

ухо к сердцу прислони.

Трудно,

трудно разлучиться,

коль под сердцем

третью ночь

кто-то крохотный стучится —

Настоящий,
 дескать,
 выдан
Александру Черенку,
под секретным
 строгим видом,
как бойцу-большевику.
Направление —
 область тыла
адмирала Колчака.
В уголке
 печать застыла,
у мандата власть
 и сила:
получал его в Цека.
Боевое порученье
парень
 помнит
 глубоко,
только
 к месту назначения
добираться нелегко.
До Урала что ни веха,
то и высадка, смотри.
Надо две недели ехать,
а не то
 недели три.
С перегрузкой
 катит тара
в направление на восток...
Ой, Самара
 ты, Самара,—
отдаленный городок!

* * *

Места,
 где прошли твои детские годы,
у речки,
 в степи, за селом —
хранятся в душе,
 несмотря на невзгоды,
с особым сердечным теплом.
Места,
 где упрямая жизнь начиналась,—
всегда остаются близки,
всегда

 вызывают какую-то жалость
и сладкое чувство тоски.

Ты вновь очутился на родине!
 Дома!

Здесь
 каждая стажка твоя.
Все тянет и манит,
 до боли знакомо,
давнишний секрет затая.
Вон,
 так же как прежде,
 сосна-недотрога
несет у дороги дозор.
За этой сосною взбегает дорога
на сизый полынный бугор.
По этой же самой дороге
 когда-то
в худом зипуне,
 с батожком,

проезжих людей сторонясь виновато,
спешил батрачонок пешком.
Вон ветхие крылья свои молчаливо
раскинул

горбатый ветряк.
Качаются ветлы

внизу у залива,
шумит молодой березняк.
А вон и кладбищенский клен знаменитый —
печали немой поводырь.
Под ним распластался

безмолвьем покрытый
и выжженный солнцем пустырь.
Как трудно дается она пешеходу,
пустынная эта верста!
Когда бы не память —

не выискать сроду
два бедных, угрюмых креста.
Один из них

взбалмошным ветром уронен,
другой —

по плечо аккурат.
Вот здесь,
по приметам,

отец похоронен,
а тут
успокоился брат.

Что ж!
Пешеходу скорбеть не впервые.
Слезу, Александр, удержи.
Тысячелистника

стебли прямые
на оба холма положи.

Вздохни.

Распрямись.

Распрямляясь, послушай,
как сердце стучится в груди,
и с легкой мечтой, согревающей душу,
с печального места уйди.
Осталось немного: пройти, огибая
сведенные в копны хлеба,
а там уже видно,

как, пятая с края,
стоит мазануха-изба.
Здесь тоже прошло огневое бучало,
здесь только что кончился бой.
Ой, парены!

Кто встретит тебя для начала?
Казачий разъезд

или свой?

Скорее,

скорее по стожке покатоЙ!
Вон тополь

шумит за избой,
вон струганый шест
со скворечней дощатой,
прилаженный в детстве тобой.
Вон кто-то,

согнувшись,
стоит под скворечней,
пожухлый платок теребя...

— Куда ты?

Кого тебе надо, сердечный?
— Да надо бы,

мама,
тебя!

* * *

Кто мать находил
 после долгой разлуки?
Нельзя материнские слезы унять.
Положит на плечи
 дрожащие руки,
притихнет,
 прижмется — и в слезы опять.

Хлопочет...

Совсем уже старая стала.
Счастливым на старости выпал денек!
Откуда-то сала кусочек достала,
волнуется,
 потчует:

— Кушай, сынок! —
Нет, старость недаром ей спину согнула —
хорош Алексашка,
 себе не в укор.

Еще раз вздохнула,
 еще раз всплакнула,
пригладив ладонью сыновний вихор.
И только когда
 до сапог оглядела,
спросила сыночка
 с тревогой в груди:

— А сам-то, Санюша,
 ты красный аль белый?

— А как ты смекаешь?

— Да красный поди...—

Хоть молод сынок,
 а морщины над бровью,

судьба-то, видать,
измотала его.

На терпится выведать
долю сыновню:

— Женился поди уж?

— Да вроде того...

Что ж, кажется, все.

Что спросить ей осталось?

Да мало ли!

Сразу-то жизнь не ясна.

Но клонит

сыночка на лавку усталость
в летучее облако близкого сна.

Вот он, сыночек,

мужицкая сила,—

попробуй его на руках укачай!

А был ведь заморыш,

под сердцем носила,

последышком рос,

на ветру, невзначай.

* * *

Между тем,

в пыли купаясь,

темной тучей от реки,

в седлах кожаных качаясь,

гонят рысью беляки.

В конном войске не крестьяне

и не столько мужики,

сколько братья-двоеданы¹,
зауральцы-кержаки.

С виду
вроде хлебоборобы,
поглядишь —
не разберешь.
Только негде ставить пробы,
только совести —
на грош.

Им
на все
плевать, собакам.
Сели,
гады,
на коня,
непонятым
блудным знаком
волчьей морды осеня.
Под хоругвяю —

статный конник,
предводитель молодцов,
молодой белопогонник —
Пров Захарыч Воронцов.
Знаменит начальник сотни!
С детства
водкой соращен,
батоном из подворотни
был родителем крещен.
Отдан был
в семинаристы,
да увял семинарист.

¹ Двоеданы — староверы.

Попытал

идти в артисты —
вылетел в трубу артист.
Белой кости генеральской
кавалер,

танцор

и франт,
он прославился в Уральске
как кудесник-хиромант.
На лету ловил монету
всех мастей

и всех родов.

А сочти,

так парню нету
двадцати пяти годов.

Он сидит,

кичась собою,
на игренем скакуне,
поблудневший с перепоею,
в сером аглицком сукне.
Белый Сокол —

по прозванию,

сукин сын —

по встеству,
проходимец —

по прозванию,

и —

бандит по существу!
На уздечке блещет бисер,
на уздечке,

а ручей...

Стремя в стремя

едут писарь,

адъютант

и казначей.

Что душа его хотела,
то он в жизни и нашел.
На карательное дело,
как на игрище, пошел.
Сам себе устав составил,
подобрал

народ в отряд,
второпях гулянку справил
и, держась

отцовских правил,
вышел в степь,

как на парад.
Жег и грабил без ответа,
вешал,

мучил
и зорил,
и еще в начале лета
слух прошел —

его за это
сам Колчак благодарил.
По такому факту судя —
ясно все.

В конце концов,
несомненно,

«вышел в люди»
Пров Захарыч Воронцов.
До пристанища недолго,
гонит банда налегке,
а за ней летит двуколка —
приторочена метелка
на высоком передке.

На осиновом настиле,
каждый наглухо прижат,
почерневшие от пыли,
трое пленников лежат.
Ноют руки,

ноют ноги,
все суставы затекли.
Не видать

троим дороги,
окромя витой петли.
Кто их завтра похоронит?
Не видать на них лица.
Едут трое —

не проронят
ни единого слова.
Через села и станицы,
через хлябь осенних вод
гонит

с гиканьем возница
двухколесный зшафот.
Через пустошь,
через озимь,
вдоль

поскотин и садов.
Сбоку надпись:
«Вот как возим
комиссаров и жидов!»
Ой ты, злая степь-раздолье,
серый коршун в небесах!..

...Входит банда в Белополье
под хоругвью, на рысях.

* * *

Темной выдалася ночка.
Не видать вокруг ни зги.
Будит,

будит мать сыночка:
— Саня! Встал бы!

Чужаки!

— Что такое, мать?

— Облава!

— Обожди!

Не запирай!..—

Глянул влево,

глянул вправо
и немедленно —

в сарай.

Ночь холодная, сырая,
но сквозь ветреную тьму
ясно видно из сарая:
кто, зачем

и что к чему.

С головой укрыты мглой,
учиня тарарам,
с медной лампой под полою
рыщут волки по дворам.
Выметают подчистую
онемелое село —
тащат кошмы, тащат сбрую,
тащат снедь и барахло.
А еще слышать отсюда,
как,

роняя тонкий звон,
тихо звякает посуда
и картавит граммофон.

Только это сбоку где-то,
за подворьями, адали...
Под дождем
 почти раздетых
пленных мимо провели.
Что им вздохи,
 что им жалость?
Знал бы —
 лучше не смотрел.
Сердце екнуло
 и сжалось:
неужели на расстрел?
Не дождались парни свадьбы,
молодежь... Глядеть невмочь...
Доглядеть бы...
 Не отстать бы!
Что бы выдумать,
 помочь?
Повели.
 Ведут.
 Уводят!
Что тут сделать?
 Ни черта!
Повернули.
 Встали вроде...
Вводят пленных в ворота.
А!
 Знакомые ворота!
В этом доме ты бывал.
По четыре горьких пота
здесь,
 бывало,
 проливал.

Он еще живет,
 паскуда,
Поликарпов Агафон.
Это здесь
 звенит посуда
и картавит граммофон.
Не забыть обиды давней!
Крепко помнит Александр
эти створчатые ставни,
крытый охрой палисад.
Двор широкий за забором,
клеть,
 конюшню,
 сеновал,
с крепким
 внутренним запором
темный
 каменный подвал.
Ах, подвал!
 Теперь понятно:
пленных прячут под замок!
Как же быть?
 Пойти обратно?
Все лицо покрыли пятна,
ватник стеганый намок.
Затяни его потуже.
Ах, подвал!..
 Так там — окно!..
Раньше,
 помнится,
 снаружи
открывалось оно.

Значит, надо ближе к нише,
а потом

спуститься вниз...

Сердце, сердце,

тише, тише!

Невзначай не оборвись!

Вот оно, окошко, рядом.

Сам теперь ты в западне.

Часовой прошелся садом.

Ничего!

Укройся за дом.

Как доска, прижмись к стене!

Раз! —

и сел на часового.

(Не вывертывайся,

брось!)

Да! —

и нету часового:

рыло вверх

и лапти врозь.

Где он, ставень?

Здесь он, здесь он.

Крепче дерни на себя!

В нос пахнула

гниль и плесень.

— Эй, товарищи!

Ребя...

Темнота.

Неразбериха.

Страшный шепот ледяной:

— Свой!

— Браток! Откуда!

— Тихо!

Осторожнее, за мной! —

При уме да при сноровке
надо двигать напролом —
ненавистные веревки
перерезаны стеклом.
Вот уже пролезли двое.
Третье тулово видно...
Оставайся, слуховое

неприкрытое окно!

Знать, веревка миновала,
знать, не так пришлась петля...
Ходу!

Мимо сеновала!

За пригон,

за тополя!

Как легко дышать на воле!
Пусть пошлет теперь гонцов,
пусть поищет

ветра в поле

Пров Захарыч Воронцов!

Только тут,

как в круговерти,

Александр

осмыслил вдруг,

от какой ушел он смерти,
от каких укрылся мук.

Лишь теперь понятно стало,
на какой решился шаг.

Даже кровь похолодала,
даже звон пошел в ушах.

Темной выдалася ночка!
Темноте наперекор
тянет дружная цепочка
за попынный

за бугор.

Ты прости,
прости, маманя,
столько лет
прийти не смог —
и опять пропал в тумане
неприкаянный сынок!
Кто там скрипнул?!

Кто таится
за оврагом ли,
в кусте ль?

Полно!
Это стонет птица,
полуночник коростель.

Глава одиннадцатая

Не все ж,
по-вороньи судача,
судьба
накликает беду.
Бывает же в жизни удача
в каком-нибудь

светлом году!
Глумилась судьбина,
ярилась,
стояла с ножом у ребра,—

а все ж Александру
открылась
счастливых свершений пара.
Как будто,
поднявшись над тучей,
упрямый,
лихой,
молодой,
он вдруг обернулся летучей,
никем не открытой звездой.
Такая разыграла в нем сила
и зоркость степного орла,
что сабля его
не косила
и пуля его
не брала.

* * *

В штабе белых —
суетня.
(Отыгрались в прятки!)
Не пройдет такого дня,
чтобы все в порядке.
Вертят карты,
сводок ждут,
головы ломают,
речи длинные ведут,
думают-гадают.
Стыд сознаться:
на глазах
(просто наказанья!)
появилась в лесах
группа партизанья.

Сводки так и говорят —
прямо,

откровенно:

партизанский тот отряд
действует мгновенно.

— По размеру навелих —
сабель двести сорок...

— Мал, как видно, золотник,
да, выходит, дорог!

— Жалить стали

хуже ос,

не дают покою.

То возьмут

в тылу обоз,

то отправят

под откос

эшелон с мукою...

— Наши люди

сбились с ног,

тщетные усилья:

то уйдут

в камыш, то в лог...

— Верховодит Черенок,
странный фамилья!

— Черен,

ростом невысок,

свистом обладает,

из-под шапки

на висок

чуб лихой свисает.

— В целом

ясно, как тут быть:

головная птица,—
головную надо сбить,
остальным не скрывать.
Уверяю,

 господа,—
заклучил полковник,—
остальные —

 ерунда!

Вызвать страх легко в них.
Средства разные под стать,
но на случай этот
есть в запасе, так сказать,
радикальный метод:
если голова умна
да еще кудрява,
голове такой цена
высока по праву.
Уверяю,

 господа,
что найдутся люди
принести ее сюда,
как арбуз на блюде!
Ум в бою

 не трын-трава,
кудри вам не веник...
Словом, эта голова
стоит наших денег! —
...В штабе белых —

 тишина.

Штаб не штаб,

 а дача.

В штабе белых решена
сложная задача.

* * *

Давно уже листья осыпалась медь,
все горше леса

и печальней.

И стала земля под копытом граметь,
как будто она не могла зеленеть,
а вечно была наковальной.

И леску не бросишь уже за корму,
и в лог не пойдешь за фазаном,
и негде пасти

на подножном корму
своих лошадей партизанам.
Но весел привыкший к лишениям народ!
Валежник трещит и пылает.
Ведь знали

отлично

бойцы наперед,
куда их судьба посылает.
На вечер предвидится бой за рекой.
Врагу не уйти от погони.
На вечер

отборный овес и покой
получат бывалые кони.
Серьезные ждут их сегодня дела!
Проверьте,

товарищи-друзи,
верны ли поводья, крепки ль удила,
подтянуты ль

прочно подпруги.
Пусть холод крепчает
и студит клинок
неистовый ветер-печальник...

А где ж командир,
Александр Черенок,
прославленный в битвах начальник?
Начальник далеко.

Начальник один
сидит под березой рябою.
Не взял даже свой боевой карабин,
а взял лишь подсумок с собою.

Достань карандаш,
Александр, и пиши,
бумага найдется в подсумке.

Никто не коснется
тревожной души,
никто не посмеет
нарушить в тиши
твои потаенные думки.

Никто на лице не заметит тоску,
никто не окликнет,
не тронет.

Один только дятел, вертясь на суку,
кору на валежник уронит.
«Здравствуй, Настюшенька,
жинка моя!

Хоть с почтой теперь неудобно,
а все же решился

попробовать я
с тобой побалакать подробно.

Пишу и не знаю,
дойдет или нет
письмо до московского края.

А если дойдет,
то куда же ответ

напишешь ты свой,
дорогая?
Ведь чтобы отправить тебе письмецо,
путями околиц опасных
мне нужно пробраться
сквозь вражье кольцо
до почты,
на сторону красных.
А глушь здесь такая,
такие леса,
что слов не найду подходящих...
За сутки,
бывает,
раз шесть адреса
меняет почтовый мой ящик.
Забыл я, что где-то шумят города:
то к падям выходим,
то к рекам.
Не думал,
Настюшенька,
я никогда,
что стану лесным человеком.
Кого же ты, ласточка, мне принесла?
Устал я томиться, гадая.
Труднее гадания
нет ремесла,
на каждом шагу — запятая.
Никак не могу до конца докопать,
чем далее — тем беспокойней:
то девка выходит,
то парень опять,
то дело кончается двойней.

А если девчонка —
 так что с нее взять?
Турнем ее замуж —
 и крышка.
Найдется же в жизни порядочный зять,
но если,
 Настюшка,
 без шуток сказать,
то лучше бы,
 если мальчишка!
Я с ним познакомился ночью во сне.
(Во сне ведь чудак я бываю!)
Сидим будто мы с ним вдвоем на коне,
прижался он будто головкой ко мне,
а я ему вслух напеваю.
А конь все несет и несет по росе,
сквозь дебри и топи, навывлаз!
Ну, кажется, я заболтался совсем —
нескладным письмом получилось.
Отряд у меня подобрался лихой.
Большую затеяли драку.
Особенных — трое.
 Один городской.
Как соколы, ходят в атаку.
Не знаю,
 кто бог среди них,
 кто герой, —
так много в них воинской жажды.
Я очень горжусь,
 что осенней порой
увел их от смерти однажды.
В глубокие чаши я с ними проник,
в тылу беляков беспокоя.

Ну, кажется,
Настенька,
 кличут меня.

Народ приготовился к бою.
Целую тебя и сажусь на коня
и сердцем, как прежде,—
с тобою».
Лиловая муть постепенно легла
притихнувшим соснам на плечи.
Костер догорел, и остыла зола,
и темень уже недалече.
И ветер куда-то прошел стороной,
и месяц холодной рукою
послушные звезды одну за другой
развесил над темной рекою.
Пора, партизаны!

Враги на виду.
Прощай, полудёнка-квартира!
— По коням! —
 звенит на высоком ладу
задиристый клич командира.

* * *

Много знал Александр ночей
под горячим дождем свинцовым,
много выдывал сволочей,
не видался лишь с Воронцовым.
Но всему свой особый срок.
Хорошо видна с косогора
заскочившая в хуторок
воронцовская волчья свора.
Задержался отряд у горы,
и сказал командир сурово:

— Он хитер,

да и мы хитры!

Надо действовать нам толково!
Кто такой он есть, Воронцов,—
достоверно

для всех известно.

Так что, думаю, для бойцов
обратить его будет лестно.
Сколько тут наберется вас,
пострадавших

■ плену у гада?

Так, что,

думаю,

я этот раз

агитировать мне не надо.

Цель,

товарищи,

коротка:

доказать ему без урона,
что орел он —

для Колчака,

а для нас —

был и есть ворона!

Можно брать хуторок

в упор,

путь открытый —

река застыла.

Но совсем другой коленкор,
если брать хуторок,

но с тыла.

В лоб по-бойцовски —

удар неплох,

герой остается всегда героем.

Но будет вернее переполох,
который карателям мы устроим!
Тут особенных нет тягот,
все решается

очень просто:

половина —

скакать в обход,

половина —

стоять у моста.

Половина

ударит в хвост,

да крепчей,

чтоб в костях ломота!..

А как выгоним их на мост —

бить по мосту из пулемета!

Раскололся безмолвный строй:

сотня —

вверх по реке Молчанке,

сотня —

в ольшанике под горой.

(Пара «максимок» на тачанке.)

Время для верности засекали,

два часа положив на дорогу,

чтобы оставшиеся могли

выйти вовремя на подмогу.

* * *

Первый выстрел дошел до слуха
через час

двадцать пять минут,

поглощенный пространством,
сухо,
словно щелкнул пастуший кнут.
Еще три выстрела прозвучали
и захлебнулись, далеки.
Бойцы в ольшанике
точно знали,
что командир перешел в клинки.
Теперь надлежало,
зажав винтовку,
сидеть, и ждать,
и глядеть с седла
с бешеным чувством на изготовку,
с сердцем,
готовым сгореть дотла.
Как они длятся,
минуты риска!
С какой медлительностью тупой!
Где там ребята?
Далеко?
Близко?
Как он проходит,
неравный бой?
Что, если попусту вышла проба?
Плохой достался бойцам удел...
— Гонят?
— Готовься!
Глядите в оба! —
голос дозорного долетел.
И в тот же миг,
громоносно,
резко,

дыбясь на воздухе ледяном,
выраались кони из перелеска
злым,

беспорядочным табуном.

Банда,

не зная, что путь к погосту
давно холодел перед ней мертво,
вихрем неслась,

устремляясь к мосту,
чтоб, переправясь,
взорвать его.

Только дотопали

до середины,
только последний коня спустил —
с треском

взлетели перегородки,
рабрами нахосо встал настил
«Та-та-та-та-та!» —

застрекотало.
«Ух ты! Да ух ты!» —

росло с бугра.
И, словно отлитое из металла,
обрушилось,

грянуло,
заклокотало
круглое

огненное «ура!».
Это скакал Александр.

С размаха
первым настиг командир врага.
(Сбилась налево его папаха
от острого встречного ветерка.)

Первым блеснул командирский росчерк!
И развернулись.

К руке рука.

Как дровосеки в дубовой роще,
работали конники Черенка.
Кончились,

кончились воронцовцы,
Хитро зажатые с двух сторон,
ломились навстречу они,
как овцы,
неся поголовный, сплошной урон.
Особо

рубил Шатунов Миколка —
с левши,

пригибаясь лицом к луке.
Припомнилась, видно, ему двуколка,
припомнилась, видно, ему метелка
на мокром трясущемся передке.
Он саблей работал без остановки
с тяжелой яростью кузнеца.
Желанье дорваться до Воронцова
теснило дыхание у бойца.
И он прорубился к нему

вплотную
и жадно,

насколько хватило сил,
почти задыхаясь,

почти вслепую
дважды бандита перекрестил.
Уже враги не давали сдачи,
уже, кидая свои клинки,
бросались с места, не ждя удачи,
на синий неведомый лед реки.

И он подламывался под ними
и брал очумевших в один глоток,
и те, что остались еще живыми,
спешили к берегу наутек.

Но тут их,

свистя,

догоняли пули,

и был смертоносен их злой полет,
и жалили пули,

и жгли, и гнули,

и клали башкой

на стеклянный лед.

...Приутихла Молчанка-река,
высоки у нее берега.

Смотрят тысячи дальних звезд
на разбитый

на длинный мост.

А у моста — попробуй счесть! —
двести свай и два края есть.

Над одним —

разошлись круги,

на другом —

полегли враги.

Тут полынья,

и там полынья,

черная рвется наверх струя.
Но не время ей течь, струе,
когда снег лежит на траве,
когда в норы ушло зверье,
укрываясь на зимовье,
когда, исхудав, продрог
не то что зверь —

ветарок.

Глава двенадцатая

Привычною стала с жильем разлука,
но тянет и манит —
 желай не желай! —
запах печеного хлеба
 и лука,
квохтанье кур
 и собачий лай.
Чуть отпусти лишь
 концы-поводья —
конь уже маху в пути
 не даст:
немедля
 выведет на угодьа,
на твердый,
 полозьями тертый наст.
И жалобой веет
 от конского ржанья,
и поет
 у хмурого всадника грудь.
Хочется всаднику
 зимней ранью
к запретным запахам
 завернуть.
Хотя бы на сутки заехать в гости,
ремни сыромятные скинуть с плеч,
раздеться,
 разутся,
 расправить кости,
почувствовать телом
 белянку печь.

— Чьи там вьются голуби
над избой?

— Кто пошел до проруби
за водой?

— Кто спешит-торопится
по задам?

— Чья там баня топится?
Вот бы нам...

— Вот бы нам ошпариться
в кипятке!

— Вот бы нам попариться
на полке!

— Стой, ребята!

Стой, орлы!

Будем конче мы белы!

Хватит жизни чертовой.

Подъезжай,

завертывай!

— Ну-ка, ближе поглядим,
что за запах,

что за дым?

— Что под крышей двется,
кто у печки греется?

— Помотались — шабаш:

хоть один денек,

да наш!

* * *

Дереванька Сквозняки —

в каждой хате бедняки.

Возле каждого двора

так и вьется детвора.

У жильцов свои волнения —
нет ни шанег, ни спастей.
но зато пришел в селенье
целый ворох новостей:
— К моему заехал тятя
весь в гранатах

А в нашей хате
сам начальник

Вот так вот!
Он побрился и помылся,
протирает
на полу пулемет!

достал из мешка.
Он сказал, что нарисует
командира твоего,
Черенка!

— Что-то долго
они с командиром вдвоем?
Встречаются утречком ранним,
расходятся поздней порой...

— Айдаге, ребята,
заглянем
в штабную избу под горой!
— Айда! —

Потолклись на приступке,
вошли и...

не верят себе:
сидит командир в полушубке
в натопленной жарко избе!
Папаха заломлена гордо,
за пазуху скрыта рука,
другая спокойно и твердо
лежит на эфесе клинка.
Сидит командир без движенья,
утратив волненье и пыл,
как будто, готовясь к сраженью,
он вдруг онемел и застыл.

Сидит,
повинуясь указке,
и весь,

до рубца на ремне,
горит, отраженный, как в сказке,
на сером льняном полотне.

А рядом
хлопочет Миколка!
Не сводит с полотнища взгляд.
То красит,

то млеет без толка,
откинувшись резко назад.

— Ну, как
 получилась овчина? —
кричит он бойцам.
— Хороша!..
Откашлялись робко и чинно
и вышли, почти не дыша.
По хатам,
 товарищи-друзи!
Еще дожидаются вас
и ветры, и дымы, и вьюги,
и града свинцового пляс.
Он вами ненадолго нажит,
опасный,
 непрочный приют.
О вас еще сказки расскажут,
о вас еще песни споют.

1938—1943

МОСКВА ЗА НАМИ

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

М. Ю. Лермонтов

1

Дорога здесь на запад пролегла.
Сверни с нее — и вот он, вот он, близко —
граненый, строгий камень обелиска
с орлом, простершим два своих крыла.
Суровая священная верста!
Горит закат. Безмолвствует природа.
Привет вам, знаменитые места, —
любовь и гордость русского народа!
Здесь вновь кипели жаркие бои,
здесь вновь летели ядра в изобилие,
здесь вновь пошли сородичи мои
противу иноземного насилия.
Отпела вьюга, опалил мороз
немецкие расколотые танки.
Валяются их грузные останки
в ногах у русских тоненьких берез.
Застывшие в смятении и страхе,
торчат из снега мерзлые тела.
В смиренные белые рубахи
судьба их напоследок облекла.

О, если б предки увидеть могли
сквозь вечные могильные потемки,
как ревностно их честь оберегли
достойные бессмертия потомки!
Привет вам, талые апрельские снега!
Вы влагой напоили нашу землю.
Я вас как дивный вешний дар приемлю
и с новой силою клянусь врага.

2

Стоял октябрь — весь в отблесках луны,
расшитый легкою багряною листвою.
Но горестный, тлетворный дух войны
вital над омраченною землею.
Нет, не забыть нам этих горьких дней!
Печаль и мрак нависли над странюю.
Враг рвался на Москву, решив пробиться к ней
любыми средствами, любой ценою.
Под натиском непрошеной орды,
залившей мир страданием и кровью,
мы в этот месяц золотой страды
с боями отходили к Подмоскovieю.
Противник густо лез. Темным-темно.
Грозя бедой, ползли его машины,
стремясь прорваться сквозь Бородино
на гладкие Можайские равнины.
И что таить — силен был наглый вор,
привыкший грабить подло и жестоко.
Тогда-то и пришла и приняла в упор
удар врага дивизия с востока.
Привел ее бывалый командир,
освеженный хасанскими ветрами,

высокий ростом, он смотрел на мир
спокойными, чуть грустными глазами.
Его вырастила вольная Сибирь,
он воинство постиг еще ребенком,
могучий, статный русский богатырь,
с улыбкой доброй, с голосом негромким.

3

Дозоры наши утром донесли,
что на рассвете, снявшись со стоянки,
вдоль насыпи сторожким ходом шли
громоздкие лоснящиеся танки.
Держась гуськом, минуя частый лес,
навстречу ветру и навстречу буре,
шли три полка: «Одиннадцать СС»,
полк «Дейчланд», полк «Великий фюрер».
С отборною фашистской немчурой,
гонимой жаждой крови и разрухи,
и повстречался гордый наш герой —
прославленный полковник Полосухин.
Он смерть и гром послал навстречу им,
прорвавшимся на русские просторы,
он сталью рвал глухие их моторы,
он обвернул их в зарево и дым.
Их гнула смерть у каждого куста,
увечил вихрь у насыпи на склоне.
Тогда они укрылись в затоне,
решив нащупать «слабые места»
в суровой бородинской обороне.
Не выдали противнику «ключи»
ни Рогачево, ни деревня Колодь.

Прямым броском ни утром, ни в ночи
не прорвалась отъявленная сволочь.
Пройдут года, но песня сохранит
тот грозный день. И мы припомним снова,
как разогнулась прусская подкова,
ударившись с размаху о гранит
бесстрашья капитана Щербакова.

4

Пробившийся на Минское шоссе,
противник устремился к цели сбоку,
чтобы по торной узкой полосе
к Бородину продвинуться с востока.
Колонной в сорок танков он идет,
деревню Утицы захватывая с ходу.
Колонну в сорок танков он ведет,
но половину наш огонь кладет —
как будто и не хаживали сроду.
Здесь немцы дикую затеяли пальбу,
ракетами страшая нас вначале,
потом в железную скрипучую трубу:
— Сдавайся, рус! — в истерике кричали.
Но кто б из русских к ним пошел в полон
менять свободу на позор застенка!
Здесь смертью храбрых гибнет батальон
стремительного капитана Зленко.
— Вперед! — кричит он. — Не сдадим Москву! —
и сам бежит по выжженному скату
и падает на черную траву,
успев швырнуть последнюю гранату.

Трещат у проходимцев черепа,
крушит их наше мужество и сила.
Напрасно их нелепая труба
в истерике о плене голосила.
Прямую обвинительную речь
читают немчура артиллеристы —
с губительным, неукротимым свистом
кромсает немцев русская картечь.
Карает немцев грозная страна.
Гремучая, отвесная, сплошная,
встает пред ними смертная стена,
на шаг к Бородину не подпуская.

5

Бородино! Стоят враги в смятенье,
гадают немцы: может, обогнуть?
Оно для них как страшное виденье,—
нельзя развить успеха наступленья,
не взяв его и не расчистив путь.
Тогда какой-то прусский грамотей
решил прибегнуть к замкнутости круга:
не то по наглости, не то с испуга
полезли немцы с севера и с юга,
с восточных троп и западных путей.
Российскую настойчивость кланя,
эсэсовцы пошли на приступ снова.
На этот раз всю тяжесть их огня
взяла на плечи прочная броня
орудий капитана Зеленова.
Не в силах взять Бородино в упор,
оглохнувший от пушечного рева,

противник, как заправский вор,
решает сбить с литых ворот забор,
войдя в Татариново и Псарёво.
Темно в глазах, когда подбитый зверь
бросается тебе на раненые плечи.
Но, несмотря на горечь от потерь,
об отступлении не было и речи.
Остервенев, уже в четвертый раз
идут на нас бывалые бандиты,
скрипя зубами, атакуют нас,
но вновь и вновь атаки их отбиты.
Под гром своих и вражеских мортир,
под клекот мин, под частый треск шрапнели
на синей «эмке» в каске и в шинели
приехал сам хозяин-командир.
— Ребята! Полосухин вместе с нами! —
веселый возглас из лесу летит.
— Да где он? Где он?
— Вон он, за кустами,
у крайнего орудия стоит! —
С бойцами рядом он привык сражаться,
спокойный голос весел и упрям:
— Ну что ж, товарищи, давайте уж держаться.
как подобает русским пушкарям!

6

Подтягивая на горбатых танках
нетрезвых автоматчиков своих,
противник по команде спозаранку
замкнулся, стушевался и затих.
Затянутый предутренним туманом,
он делал вид, что кончилась гроза,

надеясь незатейливым обманом
ослабить наши уши и глаза.
Но изучили мы ее не даром,
коварную фашистскую лису.
Встает восход, и зверь взметнулся яро,
сосредоточив главные удары
по нашей артиллерии в лесу.
Но в тесноте березовых стволов
упрямо бьются доблестные люди.
Прямые жерла громовых орудий
наводит неумный Зеленов.
Устали немцы с пушками возиться —
несутся к лесу десять танков в ряд.
Но Зеленов с открытых бьет позиций,
и десять танков нехотя горят.
С далекого распутья окружного
доносит ветер шелест мокрых шин.
Везут пехоту. По команде снова
гремят в лесу орудья Зеленова —
и нету сразу десяти машин!
Чем распахнуть смертельную завесу?
С каких высот вогнать железный клин?
Противник начинает бить по лесу
тупым огнем своих бризантных мин.
Когда б не смерть, — дивиться бы: красиво!
Искусно, по-цыгански завиты,
повисли облака разрывов
почти необъяснимой черноты.
За лесом начинается, в лесу ли
снарядов задыхающийся вой?
Уж лес не лес, а злой гигантский улей,
очерченный трассирующей пулей,
осыпанный осколочной пургой.

Все потонуло в грохоте и стоне.
Горят стога. Пылают трактора.
Постромки рвут испуганные кони.
Быть может, отступать уже пора?
Насели бронированные банды.
Порвали связь. Крепи ее, крепи!
И Зеленов дает уже команду
на ухо ближнему, по кругу, по цепи.
Не так ли, слыша посвист ядер резкий,
смирив норы вражеских атак,
за землю русскую стоял Раевский?
Наверно, так. Да, да, конечно, так!
Нет, как бы ни был поздний час опасен,
трепещет смерть, когда бушует жизнь.
Не кончились еще боеприпасы.
Держись, друзья-товарищи! Держись!

7

Неужто немец наши души вытряс?
Зачем молчим? Где главный наш расчет?
Понятно! Зеленов пошел на хитрость!
Охотник, он снаряды бережет.
Молчанье наше — для врага приманка.
В притихший лес, в туман безразняка
врывается восьмерка вертких танков,
чтоб затоптать, сломить намерняка.
Не надо даже трогать панораму,
она здесь совершенно ненужна.
Враги вблизи, работать надо прямо.
В прицельной трубке их судьба видна.
Лови их в паутину перекрестья,
не бойся их наскоков лобовых,

лупи их так, чтоб после вспомнить с честью,
чтоб каждый выстрел гробом был для них.
— Огонь! Огонь! — Пылает первый с борта.
Багровой опоясанный тесьмой,
дымит второй. И третий. И четвертый.
— Огонь! Огонь! — И на бок лег восьмой.
Земля под ним размолоута и взрыта.
Завоеет нынче «Дейчланд» от пропаж.
Не выйдет из разбитого корыта
завешанный крестами экипаж.
Идет девятый. Медленный. Тяжелый.
Костями своих братьев окружен,
ободранный, рыгающий, комоный,
он лезет к батарее на рожон.
У нашего наводчика Отрады
уносит руку дикий вихрь снаряда.
Но он стоит, весь кровью залитой,—
стоит безрукий, с помутневшим взглядом
и левой дергает упавший шнур витой.
Прочищен ствол, не сдаст тугой замок.
Наводка безупречная, прямая.
Еще раз к небу круглый гром взлетает —
и кончено. Девятый танк замолк.
Обняв Отраду крепкою рукою,
сквозь гром, и дым, и частый дождь свинца
сам Полосухин ближнюю тропую
ведет в укрытие юного бойца.
Ни крика, ни слезы, ни стоны
не проронил на поле брани он.
Как пламенный защитник бастиона,
невидимой рукой Багратина
сибирский парень был благословлен.
Бородино стояло гордо, строго.

Враг в бешенстве топтался у порога,
Бородино стояло на крови,
Кипеньем гнева и огнем любви
была к нему отрезана дорога.

8

Бородино! Тверда земля твоя!
Одно твоё торжественное имя
выводит павших из небытия
и чудодейно властвует живыми.
Бородино! Вся удаль молодая,
вся гордость русская в тебе живет,
вся родина — от Крыма до Алтая,
от знойных круч до северных широт.
Весь день с рассвета шел неравный бой,
великого достоин удивленья.
Туман опять спускался над землей.
Фашисты подвозили подкрепленья.
Пусть будет так. Пусть в мире нет чудес —
немыслимое в этот раз сбылось:
казался немцам скромный русский лес
грознее неприступного утеса.
Пускай германец злобен и неистов,
но стерегли земли родимой твердь
сто пятьдесят лихих артиллеристов,
готовых к смерти и презревших смерть.
Зажатые в дымящемся кругу,
натруженные, в огненной полуде,
в лесу из тридцати шести орудий
стреляли только девять по врагу.
Темнело. В поздний час заката
бойцы встречали вражий натиск вновь.

— Проверь винтовки! Приготовь гранаты! —
командовал чуть слышно Зеленов.
— Скорей, — шептал он, — веселей, ребята! —
и припадал за влажный горб гряды.
Уже стояли в боевом порядке
немецких автоматчиков ряды.
Сквозь тонких веток легкую сетчатку
артиллеристы видели вдали:
вот встали немцы. Вот они пошли.
В блестящих белых лайковых перчатках
их офицеры на убой вели.
Опять далеким выстрелам вдогонку
метнулись мины, сея вой и свист.
И вдруг замолкло все. Донелъзя тонкий,
противный голос в воздухе повис:
— Эй, русские! Зашьем вы помираем?
Есть плен? Нихт гут вам помирать!
— Сейчас мы вам перчатки замараем, —
неслось из леса, — век не отстирать!

9

И грянул залп. Сначала без опаски
рванулись автоматчики с бугра,
бегом, бегом, пригнув стальные каски,
стреляя не по-нашему — с бедра.
Сопя и обливаясь потом,
эсэсовцы палили невпопад.
А наши люди били, как по нотам, —
свалили сразу весь передний ряд.
Расстроились, рассыпались вояки
и вдруг легли у наших на глазах.

Поборники «психической атаки»,
они, как зайцы, прятались в кустах.
Где ж ваша резвость, струсившие черти?
Где ваша стать, коричневая рать?
Вас даже офицер под страхом смерти
от целины не может отодрать!
Он по-гадючьи вьется у куста.
Он в ярости. Он стал от злости белым,
отчаявшийся, с пеною у рта,
блестя резьбой железного креста,
он тычет в небо новый «парабеллум».
Брось, офицер, ты кажешься смешным!
Вставать твоим мерзавцам неохота.
Они же слышат, как строчит по ним
упрямая советская пехота.
Она еще недавно, как могла,
лупила по эсэсовцам из пушки.
Теперь она в окопы залегла,
винтовки трехлинейные взяла
и ловит их, как коршунов, на мушки.
Вот и убит ваш офицер. Теперь
берет вас без задержки в шоры
уже другой, в мундир одетый зверь,—
у этого короче разговоры.
Прямой, поджарый, он похож на рысь,
он бьет в затылок трех лежащих с края.
И вот вы подчинились. Поднялись.
Но вновь два дружных залпа раздались,
и повалилась партия вторая.
Не может быть, никак не может быть,
чтоб храбрецы врагов не одолели!
Добить хвастливых извергов, добить,
пока они прорваться не сумели!

Бегут, проклятые, бегут вперед.
Спешит, спешит растрепанная рота.
Но тут их с фланга взяли в оборот
станковых два советских пулемета.
И надо было только посмотреть,
как мокрых их, забрызганных росой,
валила наземь праведная смерть
своею беспощадною косою.
Совсем стемнело. В голубую высь,
как хищные хвостатые кометы,
с кошачьим шипом наискось взвились
сигнальные немецкие ракеты.
Отбой сыграли немцы. До утра
они решили больше не храбриться.

Пора, товарищи, теперь уже пора
сниматься с уготованных позиций.
Укрыты раненые. Свиты провода.
Винтовочки повешены за плечи.
Разобраны на конях повода —
до отдыха буланым недалече.
Лафеты улеглись на передки.
Притихшие, полуночной порою
по глубин река, как по руслу реки,
на север двинулись усталые герои.
Уходят пушки, но они грозят!
Уходят люди, чтобы возвратиться.
И горе вам, вильгельмы, гансы, фрицы,
когда они воротятся назад!
Горит в ночи распахнутое знамя.
Блестят огни пятиконечных звезд.
Упала тьма. Развеялся и замер
последний звук, последний стук колес.

И только темный свежий отпечаток
остался на песчанике во рву.
Так кончилась одна из жарких схваток
за нашу честь, за волю, за Москву.
Мы отошли. Но помни нас, страна! —
мы здесь стояли за тебя стеною.
Враги продвинулись. Но стороною,
как черти ладана, боясь Бородина.

10

Дорога здесь на запад пролегла.
Сварни с нее — и вот он, вот он, близко, —
граненый, строгий камень обелиска
с орлом, простершим два своих крыла.
Суровая священная верста.
Легендами овеянное поле.
Привет вам, знаменитые места,
недавно побывавшие в неволе!
Здесь все нам любо. Каждой тропки пядь.
Холмы и кручи не окинуть взором.
Коварный враг здесь лютовал опять,
чтоб броситься в великом страхе вспять,
снедаемый досадой и позором.
Мы гоним, гоним хищную орду.
От этих мест бои уже далеко.
Враг в злобе огрызается жестоко,
но смерть его у мира на виду.
За горький дым поруганного дома,
за скорбь, за боль, за слезы матерей
враг не уйдет от мести и от грома
победоносных русских батарей.

На запад смотрят русские штыки.
Смелей, смелей! — подсказывает сердце.
Вперед, орлы — донцы, кубанцы, терцы!
Вперед, волжане и сибиряки!
Запомни, враг, презреньем заклею:
не покоришь нас, волей непреклонных,
не сломишь нас, с рожденья осененных
величьем гордых ленинских знамен!

Западный фронт

1942

НА УРАЛЕ

Вступ л е н и е

Откуда этот ветер смоляной?
Откуда этот гордый звук металла,
как музыка, летящий над страной?
С железных гор,
от быстрых рек,
с Урала.

Откуда этих чистых песен клад?
Откуда эти ясные поверья,
где все слова сверкают и горят,
как светляки, как райской птицы перья?
Откуда этот камень-самоцвет,
то розовый,
то красный,
то зеленый,
запечатлевший нежных радуг след.
лазурь небес и блеск волны студеной!
Похожая на вольную струю,
откуда эта сабля расписная,
готовая проворствовать в бою,
неизвестство казачье прославляя?

Откуда эта пушка-громобой?
Какой суровый мастер несравненный
свою судьбу сроднил с ее судьбой,
вдохнув в металл свой разум вдохновенный?
Откуда он, бывалый человек,
чья жизнь причиной этой песни стала?
С железных гор, от шумных быстрых рек
кузнец и воин, верный сын Урала.

Характер у города строгий такой

Город стоит на широкой реке,
окутанный дымом,
 пронзенный гудками.
Короткие громы встают вдалеке
и катятся нехотя меж берегами.
Бывает гром,
 что летит, скуля,
с какой-то нотой басовой лени.
А бывает гром,
 что дрожит земля
и лошади падают на колени.
Приедем с фронта сперва не понять,
куда он попал
 и куда он приехал:
окопную музыку слышит опять
иль грохот грозы откликается эхом?
Но это недолго.
 Лишь только на миг,
Один только раз ошибется он шибко.
Услышит повторный удар фронтовик,
и сразу лицо раздвигает улыбка.

— Вот это вот да! —

Фронтовик говорит.—

Фашистам беда от таких колоколен! —

И взор у солдата задором горит,
и видно, что парень доволен-доволен.

А выстрелы снова гремят над рекой,
и вьется дымок на лесном горизонте.

Характер у города строгий такой —
от фронта вдали,

а пальба, как на фронте.

С тобой говорит пушкарь

Здесь живут уральцы-пушкари,
гордость, строгость в каждом их ответе.
Задержись,

с любимым поговори
и узнай, как надо жить на свете.

— Да, браток, работаем сейчас,
скорости хорошей достигая,
потому профессия у нас
сердцу с малолетства дорогая.
Дед — пушкарь, и прадед был пушкарь,
и внучонок этим же гордится.
Только то, что делали мы встарь,
с нынешней работой не сравнится.
Нынешняя пушка —

чудеса!

Эвон, чуешь,

как снаряд буравит!

Хочешь —

залетит на небеса,

хочешь —

землю насквозь продырявит.
С нашей пушкой действовать в бою,
сказывают,

каждому охота...
А работу любим мы свою,
потому —

полезная работа! —
И опять с восторженным лицом,
голос напрягая до предела,
говорит пушкарь тебе о том,
как он любит пушечное дело.
И вот здесь,

вдали от битв,
в тылу,
ты постигнешь с чувством удивленья,
что такое верность ремеслу,
равная успеху наступленья.
И, с трудом спокойствие храня,
ты припомнишь с самого начала
славную историю огня
грозного оружия Урала.
Урал!

Как свежий ветер поутру,
шумит его прославленное имя.
Он помогал Великому Петру
ружейными богатствами своими.
Урал!

Родник несметных русских сил.
Стальное это имя прославляя,
Суворов с торжеством произносил,
Кутузов называл, благословляя.

Уральских пушек седоватый дым
видали Альп продрогшие вершины,
по мерзлым склонам, голым и крутым,
стучали гулко кованые шины.

Стирая нормы всех военных карт,
ослепшие от вьюги, бородаты,
их на руках несли чрез Сен-Готард
отчаянные русские солдаты.

Колеса их, пространства не щадя,
сбивая спесь, внушительно и чинно
прогрохали

по хмурым площадям
впервые покоренного Берлина.
Урал! Урал!

Когда на смертный бой
Пожарский с Мининым подняли войско,
твои же ратники вставали в строй
и первыми сражались по-геройски.
Уральской саблей врагов рубал
Денис Давыдов в честь родного края,
уральскойковки солнечный металл
играл в руке Василия Чапая.
Отсюда,

от Уральского хребта,
бежал Колчак, разбойник и меняла,
и каждая страдальная верста
его кровавый след запоминала.
Когда, грозя достоинству страны,
фашистский зверь решил к Москве

пробиться,—

твои,

Урал,

надежные сыны

пришли на помощь матери-столице.
И надо только в памяти сберечь,
как под Смоленском

в утреннем тумане
прямой наводкой сыпали картечь
кунгурцы,
кудымкарцы,
чусовляне.

Урал! Урал!

Недаром пушкари
гордятся родословной, как победой.
Остановись,

с любым поговори —
и не уснешь до самой до зари,
взволнованный вечернюю беседой.

По реке плывет баржа

Крытый солнца позолотой,
мчится легкий катерок.
Катерку с большой охотой
помогает ветерок.
А навстречу катерочку,
над волною ворожа,
за буксиром в одиночку
не спаша ползет баржа.
А за черной за баржою
в три сажани шириною
и длиною с полверсты
чередом идут плоты.
Тяжело буксиру, трудно:

гулевой волне вдогон
тащит маленькое судно —
сразу, может, тыщу тонн.
И чего тут только нету!
Словно странник-великан
много дней гулял по свету
и находки клал в карман:
лом чугунный,

лом железный,
драгоценный лом стальной;
по причине неизвестной
якорь сломанный, кривой;
паровозные колеса,
отслужившие свой срок;
ствол пожарного насоса,
перебитый поперек;
две рессоры ржавой масти
старика грузовика;
развалившийся на части
полукруг маховика;
обод, погнутый и жалкий,
извлеченный из золы;
лемеха,

кронштейны, балки,
одряхлевшие валы;
с расщепленными боками
паровой котел худой;
танки с белыми крестами,
с развороченной броней.
Все заводу пригодится,
все пойдет на переплав,
все в орудья превратится,
снова грозной силой став.

Чародей завод прожорлив,
виснет зарево над ним.
День и ночь в кирпичном горле
все клокочет черный дым,
Многотрубный,

 коренастый,
тучей ставший над рекой,
огнедышащий,

 горластый,
потерявший сон-покой,
пожирающий бессчетно
уголь,

 нефть,
 еловый лес,
злые дымные полотна
протянувший до небес,
льющий,

 плавающий,
 кующий,
грому родственник прямой,
он живет, как мастер сущий,
трудной жизнью тыловой!
Но чего б он ни присвоил
и чего б ни сжег в огне,
в самый краткий срок с лихвою
возвращается стране.

Металл кипит и пьется

Вот берет магнит-лебедка
щепоть лома в тонну весом
и несет свою находку

с хищным,
жадным интересом.
Вот плывет,
вот повисает,
за добычей бросив слэжку,
и звенящий груз бросает
в мутьду — круглую тележку.
У тележки нрав серьезный,
так сказать, не нрав, а норов,—
катит мутьда с песней грозной
в печь без лишних разговоров.
Лезет мутьда к черту в душу,
а за ней десяток цугом —
и порожние наружу
возвращаются с испугом.
Побывать в печи не шутка,
неприглядная картина:
как в аду, красно, и жутко,
и до ужаса пустынно.
Гаснет звуков перепалка.
Кран-магнит давно в отставке:
быстро кончилась завалка,
наступает время плавки.
Не создаст воображенье,
не раскроет описание
это страшное брожение,
это злое клокотанье.
Как живой, металл бормочет!
Презирая муки плавки,
он из твердого не хочет
снова стать послушно-мягким.
Но в печи температура

душит,

давит,

наступает,

и железная натура

постепенно уступает.

Гордый якорь уж не якорь,

весь поник с тоской немой,

будто он вояк не брякал

толстой цепью за кормою.

Может быть, еще минута,

и печальный миг настанет —

всхлипнет якорь почему-то,

и его совсем не станет.

Потеряет якорь имя,

захлебнется пузырьками

и смешается с другими

обреченными друзьями.

И начнет бурлить по кругу

все стремительней и пуще,

взвихрив огненную вьюгу,

вулканическая гуща.

Не дыша стоишь в молчанье,

если видишь ты впервые

это мертвое качанье,

эти волны неживые.

А вокруг —

июль сверкает.

Говор.

Радость.

Воскресенье.

Люди ждут и наблюдают

смертоносное кипенье.

Людам нужен до зарезу
этот кладезь гневной лавы.
Люди будут из железа
делать памятники славы.
Солнце село.

Даль поблекла.

Час пришел,
пора настала —
вырывается из пекла
голос пленника-металла.
Кто-то властною рукою
где-то что-то отодвинул —
и пошел,

ударил,

хлынул
огнепад струей крутою.
Как неопытному глазу
разглядеть струю такую,
искрометно-огневую,
ослепляющую сразу?
Даже дрожь бежит по коже
(как поэту жить, не мучась!),
с чем сравнить, чтоб было схоже,
эту ярость, эту жгучесть?
С крепкой удалью народной,
с боевой порукой братской,
с хлесткой песнею походной,
с русской доблестью солдатской,
с жаркой кровью в наших жилах,
с нашей дерзостью извечной,
с нашей славой, с нашей силой,
с нашей верой бесконечной.

Самое главное — ствол

Ушки прошу держать на макушке,
о чем бы я речь ни вел.

Самая главная часть у пушки —
это, конечно, ствол.

Пушка,

считай,

без ствола не штука,

как лук без струны-тетивы,

как боевой барабан без звука,

как всадник без головы.

Каждой детали —

своя дорога,

свой на пути приют.

Посмотрим, однако, на дело строго,

как этот ствол куют.

Падает вниз громовержец-молот,

зол и, как бык, мордаст.

Пощады никто у него не молит —

он все равно не даст.

Любо смотреть,

как одним ударом

сводится толщ на нет.

Стонет болванка,

плюет нагаром,

вытягивает хребет.

Там, где горбатов было место,

гладь возникает вдруг.

Так разминают тугое тесто

сильным нажимом рук.

Ловко,
уверенно,
точно,
быстро,
множество раз подряд.
Только белесые брызги-искры
вместо свечей горят.
А в кованной — ветер горячий злится.
Чад.

Духота.

Жара.

Людам хочется окатиться
попросту из ведра.
И диву даешься, с каким терпеньем
люди весь день куют.
Мало терпенья —

с ожесточеньем

лесни еще поют.
Нет, не горька им исчажья чаша.
Они на войне. Бойцы.
Вот они —

гордость и совесть наша —
уральские кузнецы!
Вот она,

нация мировая,
люди, что бьют сплеча,
ливнем осколочным накрывая
Гитлера-палача.
Вон как один из них,

с виду кроткий,

весело,
напрямик,

в насквозь промокшей косоворотке
действует в этот миг:
ловит пылающую болванку
и на бок ее кладет,—
так бронебойщик навстречу танку
один на один идет.
Будет немедленно ствол откован,
и двинется к мастерам,
и, каждым в отдельности облюбован,
станет казист и прям.
И может быть, будет еще удобно
после, когда-нибудь,
легким стихом описать подробно
весь его долгий путь:
как закаляют,

как выпрямляют,
ведут на цепях под уздцы,
как иступленно его строгают
с разных сторон резцы;
как с ястребиным упрямством свёрла
лезут в нутро винтом,
как в перегретом и дымном горле
долго першит потом;
как его глядят,

качают,
вертят,
ставят затем на дыбы,
как по стальному каналу смерти
тянут змею резьбы;
как он, прямой,

маслянистый,
чистый,

бурям наперекор,
светлый,
 ликующий
 и плачистый,
идет наконец на сбор.

Пушка должна петь!

Радостный говор стали
звонок, как на торгу.
Сходятся все детали
в сборочном, на кругу.
Здесь и светло и гулко,
жить неохота врозь.
Прочно ложится люлька
на боевую ось.
Впредь никакая тряска
пушечка не страшна.
Масленая салазка
в люльку погружена.
Тесно,
 надежно,
 туго
ствол на нее надет.
Держат они друг друга
так же, как их — лафет.
Накрепко все притерто,
начисто, до конца.
Прочность такого сорта
не подведет бойца.
Но чтоб огневого вала
сила была грозна,

прочности пушке мало —
ей точность еще нужна.
И снова кипит работа —
до тонкости, до мечты
подъема и поворота
доводятся все винты.
Работа —

над каждой гранью,
над каждой резьбой внутри.
С пристрастием,
со старанием
трудятся лушкари.
Работают дружно, рьяно,
как будто в листах брони
не пушку,

а фортепьяно
настраивают они.
И кажется, в этом раже
попробуй людей спроси,
и люди тебе покажут,
где «до» прозвучит,

где «си».

Прочность — чтоб без износа
сыпало дуло жар,
точность —

чтоб даже носа
не подточил комар!
Чтоб круче,
быстрее,

дальше

тяжелый снаряд летел,
чтоб голос его без фальши
в холодной ночи звенел,

чтоб пушка жила и пела,
чтоб даже не застил дым
угол того прицела,
который необходим!

На мирной траве полигона

Сегодня особенно тих и печален
уральский закат над вершинами бора,
певучие звуки дневных наковален
расплавилась в море цветного набора.
Как редок он здесь, этот час безмятежный!
Притих зачарованный труженик город.
Но вдруг заколдованный

воздух прибрежный
качнулся, немыслимой силой распорот.
Теперь уже громы помчатся с разгона,
хоть уши зажми, хоть шепчи заклинанья.
На мирной, на влажной траве полигона
опять и опять начались испытания.

— Еще раз! Еще раз! —

хмельной, потрясенный,
кричу я во тьме пушкарю молодому.
Кричу и бегу по дорожке бетонной
навстречу летящему новому грому.
Удар за ударом,

удар за ударом.
Впиваются в небо тугие спирали.
Нет, в песнях Урал прославляют недаром,
недаром несется молва об Урале!
— Еще раз! Еще раз! —

удары крепчают.

Один одного тяжелее и тверже.
За Керчью, под Яссами нам отвечают,
ответы грохочут под древнею Оршей.
С Урала на запад летят эшелоны,
груженные страшным стальным урожаем.
Приветливым словом, глубоким поклоном,
с великой надеждой мы их провожаем.
Гремит перекличка широкого боя.
Окрестности неба в багровом покрове.
Седой «бог войны» с огневой бородою
нахмурил суровые, дымные брови...

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Памяти А. Ф. Можайского

1

Я верю, что правду нельзя схоронить.
Рассеяв туман,
одолев расстоянья,
как гордого солнца упрямая нить,
она проникает сквозь время молчанья.
Мой строгий читатель,
мой друг-современник,
приветствуй
ее неперенный приход.
Ведь это она тебя
в тучах весенних
на легких крылах
над землею несет.
Ты снова сегодня,
читатель, поймешь
всей мыслью своею,
всей верой сердечной,
как в мире нища и беспомощна ложь
в сравнении с правдой,
прекрасной и вечной.

Осенней порою

покинув Кронштадт
и выйдя на звездный простор океана,
год с лишним

волну рассекала «Диана» —
тяжелый

трехпарусный

русский фрегат.

В одной из вместительных верхних кают,
за белым крылом

полотняной портьеры,
пришедших встречал постоянный уют —
любили сюда заглянуть офицеры.

Хозяин каюты, усатый гигант,
душа и любимец всего экипажа,
таил в себе редкий, завидный талант,
какой-то секрет притяжения даже:
на поздний,

мерцавший в тиши огонек,
легко повинуюсь сердечному зову,
сходились товарищи в тесный кружок
навстречу простому,

приветному слову.

Каких только здесь не разведали книг,
каких не листали брошюр и журналов,
каких новостей не узнали из них —
военных,

общественных,

крупных и малых!

Каких только споров вечерней порой
каюта Можайского не услышала!

Устойчив ли зной под земною корою,
хорош ли воздушного шара покрой
и может ли шар подчиняться штурвалу?
Способен ли выдержать

русский матрос
припадок тропической лихорадки
и можно ли

ставить серьезно вопрос
о скором рождении

лодки-крылатки?

Одни говорили решительно: «Нет!»

Другие — ни нет и не да

(баламуты!).

И чаще других

самый дельный ответ

давал любопытным хозяин каюты.

— Идет против ветра на всех парусах! —

друзья о Можайском шутили, бывало.

Работы ему на фрегате хватало,

и все же об отдыхе думал он мало —

то кисть,

то компас,

то хронометр в руках.

Однажды Можайский нес вахту. Вокруг,

как снежные хлопья, кружились чайки.

Одна из них сильно ударилась в друг

крылом о грот-мачту. Отбившись от стайки,

несчастливая

сразу обрушилась вниз,

упала на палубу

камнем, без стога.

...Летучие рыбы вблизи пронеслись,

акула за кем-то метнулась с разгона,

пробили вечерние склянки; волна
все выше за бортом хребет поднимала,
соленою пеной швырялась она.
Но это Можайского не занимало.
Он мертвую птицу

держал на весу,
щекой белокипенных перьев касался,
глядел на развернутых крыльях красу
и чуду классических форм изумлялся.
Так были они безупречны, ясны,
прекрасные линии легкого тела,
такой гармоничности строгой полны,
что чайка, казалось,

и мертвой летела!
«Наступит же время, найдется талант,
возьмет за основу диковину эту,
построит, наладит и пустит по свету
крылатую лодку!» —

мечтал лейтенант.
Протопав по палубе шагом саженным,
он скрылся в каюте,

у столика сел.
В каюту вошел корабельный священник:
— Ну, в чем наш да Винчи опять преуспел?
— Да где там!

Куда уж там преуспевать!
Я вот что скажу вам,

владыка Василий:
мы скоро научимся с вами летать
ценою, конечно, огромных усилий...
Да, да, я серьезно!..

Придет еще срок...—
Священник взглянул на Можайского строго,

с испугом промолвил: — Побойтесь хоть бога! —
и, путаясь в рясе, махнул за порог.
«Что ж, бог-то,

пожалуй,

действительно бог,

поскольку владыка о нем заикнулся,
но в деле науки и сам будь не плох!»
Можайский зажмурился и улыбнулся.
Наутро он ловкой рукой смастерил
толковое, прочное чучело птицы,
эскиз набросал длинных стрельчатых крыл
и все это запер в шкафу —

пригодится!..

...Фрегат по волнам океании плыл.
За милею милю назад относил.
За месяцем месяц корму золотил.
То рдело, то меркло дневное светило.
Год с лишним под ветром сгибался флагшток,
пока показались японские воды.
«Диана» пришла наконец на восток
и бросила якорь в заливе Симода¹.

.....
Надолго, надолго Можайский сберег
в душе своей будни восточных скитаний.
Немало потом он изъездил дорог,
морей разлиновывал вдоль-поперек,
но в грузном багажнике воспоминаний,
в походном подсумке бесчисленных тревог,
в одном из надежных его отделений,
хранил он тех ранних надежд узелок —

¹ Осенью 1854 года фрегат «Диана», взамен пришедшего в негодность фрегата «Паллада», по требованию вице-адмирала Путятина, находившегося в Японии с дипломатическими поручениями, прибыл в порт города Симода.

свидетельство первых своих увлечений.
Как, в сущности, все это было давно!
И сколько событий уже позабылось,
и сколько туманною дымкой покрылось,
и сколько упало в забвенье, на дно!
На Тихом стояла тогда тишина.
На Черном тогда бушевала война.
Испуганно,

злбно глядела Европа,
как ярко лучились во тьме имена
бессмертных матросов — героев Синопа.

3

Он долго стоял в этот час над Невой.
Пугливая чайка белесою тенью
стремглав

пронеслась над его головою.
И, в тысячный раз изумлен, как апервой,
глядел он на чудо ее оперенья.
Один только промельк.

Один только миг.
А он вот опять стал безмолвным, как мрамор.
внезапно

рывком расстегнул воротник
и в долгом немом изумлении замер.
А что, если так же взлететь и ему,
вот так, над волною,

по-птичьему рея?..
Сперва показалась чуждой уму
далекая, дерзкая эта идея,
потом он, очнувшись, в душе ощутил,
как все в нем безудержно вдруг закипело

горячим ключом нарастающих сил,
потом осадил себя трезво и смело:
«Мечтатель»,

мальчишка с наивной душой,
до важных чинов дослужившийся дивом!
А ветер

метался над невиской водой,
и хмурые тучи ползли чередой,
заметно сгущаясь над Финским заливом.
Непрошенный дождь налетел, застучал
по кровлям дворцов, колоколен и башен.
Смеркалось.

Лиловою мутью окрашен,
день города грузно вставал на причал.
Смеркалось.

Вокруг было мрачно и сыро,
однако, немало еще погода,
Можайский пошел, не жалея мундира,
не прячась от хлынувшего дождя.
Какой-то чиновник, бежавший навстречу,
взглянув на Можайского, бросил: «Хорош!»
Втянув, как от холода, голову в плечи,
он был на хмельного гуляку похож.
Его на Неву потянуло назад.
Тревожная мысль к нему снова вернулась.
Он шел по осклизлым булыжникам улиц,
шагая вслепую, почти наугад.
И, только добравшись до дома,

■ прихожей

он понял, что глупо,

нещадно промок.

Раздевшись, он лег, но, уставший до дрожи,
заснуть в эту ночь почему-то не мог.

Он снова всем сердцем отдался мечте,
ни дня,

ни минуты

не зная покоя.

Во всей неотступной своей простоте
вошло в его помыслы что-то такое,
что билось у сердца рассудку назло,
томило все больше, кипело, крепчало,
стихая порой, возникало сначала
и душу покинуть уже не могло.

Прилежный,

настойчивый с малых годов,
доподлинно знавший, что значит работа,
строитель,

создатель новейших судов,
он был на виду у российского флота.

Уменье на цель выводило его,
любое желанье обычно сбывалось.

Так в чем же незримо теперь заключалось
несносных, жестоких тревог существо?

Карьера?

Она еще к ранним годам
устроилась,

можно сказать, безупречно,
хотя и сдавалось иным господам,
что слишком сложилась она быстротечно.
С мальчишеских лет терпелив и умен,
Можайский не ведал, что значит усталость,
хотя простакам сослуживцам казалось,
что попросту был он в рубашке рожден.

Приметный по службе морской офицер,
он шал, слава богу, другим не в пример,
по узкой тропе,

временами отвесной,
от звания к званию прямо и честно.
Домашним мечталось: счастливый удел!
А он, одержимый, все чаще и чаще
для лучших друзей объявлялся пропащим
и в темное,

грозное небо глядел.

5

Придавлена тяжестью царского трона,
Россия в те годы казалась больной.
Кто в силах учесть, сколько жертв и урона
нес русский народ?

Стон стоял над страной.

Уже Чернышевский звенел кандалами,
покинув жестокой столицы предел,
и, тщетно притушенный колоколами,
глухой каракозовский выстрел гремел.
И гневно звучала Некрасова муза,
пылающим словом будила страну.
Страна между тем находилась в плену,
как гордый корабль с богатейшим грузом,
привязанный ржавою цепью ко дну.
В стране благородных,

великих свершений

такое богатство талантов нашлось!

Но в недрах

научных ее учреждений
немало бездарных тупиц прижилось.

Одни из них попросту были без знания,
другие,

усвоивши роль знатоков,
любою ценой добивались признания,
стяжали себе академиков званья,
копили богатства своих сундуков.
А третьи...

А третьи тянули из тьмы
к российским сокровищам грязные руки.
Они-то и были для русской науки
опасней холеры,

страшнее чумы.
То в роли советчиков, то консультантов
ломались к нам наглые эти врази
и крали проекты у русских талантов,
тащили бессовестно сколько могли.
Крикливо кичась европейским умением,
носы непомерно высоко задрая,
смотрели на русских они с сожалением,
шпионы различных заморских держав.
В культуру России как будто не веря,
кричали о бедности нашей степной,
а сами врывались в открытые двери,
тащили сокровища всей пятерней.
При случае что-то невнятно проблевав
о нищей,

отсталой,
славянской судьбе,
во всем понимая не больше лакеев,
смотрели на нас они,
как на плебея,
и даже всепризнанный наш Менделеев
ловил этот взгляд иногда на себе.

Нам трудно поверить теперь, что в России
на службе у тех иноземных господ
вертелись продажные люди,—

такие
имели от службы немалый доход.
Поклонники Запада,

судьи-удаваы,
они своему подвергали суду,
держали в бесславые, толкали в нужду
отважных сынов нашей чести и славы.
Всегда применяя подлог и измену,
они клеветы паутину плели.
Вот в эту-то пору и вышел на сцену
недюжинный ум,

знавший творчеству цену,
великий подвижник российской земли.

6

В упрямых исканьях не знавший предела,
с умом прозорливым, с открытой душой,
он словно рожден был для храброго дела,
для пламенной, солнечной жизни большой.
Хозяин весомого слова скупого,
готовый склониться пред истиной ниц,
он долго искал,

в чем таится основа
завидного летного дела живого.

И вновь приступил к изучению птиц.

«Ну что же, пожалуй, у цели теперь я!
Займусь, как колдунья,

божбой-ворожкой:

поймаю воробышка, выщиплю перья
и, может, войду у науки в доверье! —
насмешливо сам рассуждал он с собой.—
Слаба заграница!

Увязла — и точка.

Там в небе воздушных шаров чехарда..
В корзинах летают себе господа!..
Ведь шар —

это облако,

пусть в оболочке,

но все же он воздуха легче куда.

А птица, вот та тяжелей...

Почему же

летит она вверх по кривой?..

По прямой?..

А тут — человек! Чем сороки он хуже?

Да это же просто смешно, сударь мой!

Нет, твердый орешек сорочьих секретов

я должен, друзья, раскусить до конца!»

И он,

при содействии игл и ланцетов,

в глубоком анализе ищет ответов,

грача потрошит,

и дрозда,

и скворца.

Схватить потаенную истину силясь,

Можайский, как бусинку в спеющей ржи,

весь день ее ищет.

Грачи и чижи

на ватмане белом уже превратились

в колонки волнующих цифр,

■ чертежи.

Да, найден!

И держится он испокон
на скорости птичьего тела в полете.
И чем будут больше размеры крыла,
тем дольше

и дальше полет совершится.
Но все ж полетит человек, а не птица.
И стало быть,

как бы мечта ни звала,
но птица во всем подражать не годится.
Можайский корпит над горой вычислений,
как летом пчела над постройкою сот,
и дерзкие факты своих наблюдений
в военное ведомство снова несет.

7

Прочитаны сотни увесистых книг,
и что ни страница

— сплошная водица.

Читай не читай,

к сожалению, в них
опять о воздушных шарах говорится.
И аглицкий туз и француз-биржевик,
как видно, в науку

не больно проникли.
А впрочем, они, иностранцы,

привыкли,
чтоб думал за них холмогорский мужик.
Можайскому вспомнились детские годы:
гоньба на заре трубачей-голубей,

купанья,
рыбалки,
грибные походы
и первый,
запущенный в час непогоды,
бумажный,
хвостатый,
раскрашенный змей.

Ведь если подумать о змее смелее,
выходит, что змей не такой уж пустяк!
Можайский припомнил,

бывало и так:
приблизиться к берегу в бурю не смея,
на якорь вставали вдали корабли...
И что же?

Представьте, при помощи змея
канат долетел от кормы до земли.
Значительный факт и полезный, пожалуй!
Подстегнутый жаркой мечтою своей,
Можайский хитро мастерит небывалый,
доселе невиданный, сказочный змей.
Изогнутой формы, скупой кривизны,
змея скроен и сшит по-особому, с толком,
из тонкой

сухой
прямослойной сосны,
обтянутой крепким промасленным шелком.
Такой получился надежный на вид,
и так проявилось во всем равновесье,
хоть тут же садись

и лети в поднебесье...
Мечту не удержишь:

Можайский летит!

День выдался ветреный. Вербы шумели.
 Чернели размытые весенних дорог.
 И острый,

как это бывает в апреле,
 с открытых полей набегал холодок.
 Но в трепетном воздухе дружно и стойко
 бродил уже запах замлевших ветвей.
 На ветер стремительно

вырвалась тройка
 впряженных в телегу гнедых лошадей.
 Но встречных людей поражал не ящик,
 не то,

что, как волки,
 неслись пристяжные
 и чертом глядел под дугой коренник.
 Нет,

люди увидели в небе впервое,
 как, лбом рассекая

крутящийся снег,
 над полем
 летел

плоскодонник дощатый.

А в нем,

на открытой площадке покатоЙ,
 лохматый, как демон, сидел человек!
 К тяжелой телеге привязана ловко,
 почти вертикально,

гитарной струной,
 к далекому змею тянулась веревка,
 а кони несли и несли по прямой.

Звенел молодой колокольчик казенный,
и комья разбухшей земли потрясенной
летели взмахом из-под конских копыт
на сучья сухих придорожных ракут.
Еще издавече такое заметя,
крестились старухи, разинувши рты.
Зато молодые визжали, как дети,
бросали ушатые шапки на ветер,
и птицы шарахались с маху в кусты.
— Гони! Нажимай! —

горячился лохматый.
Откуда-то сверху летел его крик.
— Задохнемся, барин! —

в ответ виноватый
с телеги ему откликался ямщик.
И часто хлестал лошадей одичалых,
и выл,
и свистал,

ошалев от езды.
Телега, гремя, миновала пруды
и только на голых полыхных увалах
замедлила бег...

У озерной воды;
в густых камышах,
приземлился Можайский,
ощупал помятого змея бока,
расправил промасленный шелк по-хозяйски
и крепко, по-братски обнял ямщика.
Смущенный мужик с сыромятною плетью,
обласканный баринком, вовсе не знал,
что он свою тройку залетную гнал
не просто по тракту,

а прямо в столетья.

На ночью во сне, в состоянии бреда,—
 воочью свершилось одно из чудес.
 Одержана снова большая победа
 на трудном пути покоренья небес.
 В истории день этот свято хранится!
 Пройдет десять долгих, томительных лет,
 пока целиком повторит заграница
 подобный же опыт Можайскому вслед.
 Веселый,

настойчивый,

полный надежды,
 Можайский писал петербургским друзьям:
 «Теперь я проверил на опыте сам
 возможность удачи, казавшейся прежде
 такой отдаленной, как звезды с луной,
 для множества скептиков просто смешной.
 Признаться, я мало мечтаю о звездах!
 Полет же на змее помог мне найти
 покатыю плоскость, способную в воздух
 поднять человека. На этом пути,
 допустим,

меня выручает сноровка.
 Но рыбка пока что не поймана в сеть:
 ведь змей-то по небу

тянула веревка,
 а вот без веревки сумеи полететь!
 Клянусь,

что теперь я до самой могилы
 с лукавой природой не буду в ладу,
 покуда источники движущей силы
 в глубоких ее тайниках не найду.

Не скрою: не легкая эта задача!
Я, кажется, вынужден завтра, ей-ей,
покинуть свою заповедную дачу
и тронуться в Питер
как можно скорей».

10

Друзья в Петербурге его уже ждали.
Им, лучшим друзьям,
не терпелось узнать
подробности,
все головные детали
полета на змее,
успевшего стать
событием.

— Славное дело затеял,
сумев основное решение найти,
нельзя застревать в половине пути! —
волнуясь в душе, наставлял Менделеев. —
Не следует только легко доверяться
счастливым случайностям.

Каждую пядь
на опыте надо всегда проверять,
не двигаться в русле одних комбинаций.
— Лежит пред тобою прямая дорога,
смотри же, с дороги не свертывай в ров,
нащупывая вехи!.. —

любовно и строго
внушает известный моряк Рыкачев.
— Дорога дорогой,
но тут, милый мой,
приходится больше шагать целиной.

Для дела нужны не одни только птицы,
выведывая тайну на разный манер! —
старинному другу советует Спицын,
маститый, бывалый морской офицер.
Склонившись, друзья чертежи изучают,
читают доподлинных записей ряд,
порой даже спорят,

но вновь затихают
и вновь говорят,
говорят,
говорят.

Не вдруг, спохватившись, расходятся поздно.
...Над городом густо стоит тишина.
На длинных ногах

одиноко и грозно
по крыше Исакия ходит луна.
Разбросаны книги, раскрыты тетради,
свеча на бюро до конца сожжена..
Не слышит Можайский, как бережно сзади
кладет ему руки на плечи жена.
— Не хватит ли, Сашенька?

Ты посмотри,
на Невском погасли уже фонари! —
С волнением целует он милые руки.
— Ложусь! — отзывается как бы в испуге
и что-то бормочет до самой зари.

11

Что может быть радостней дружбы на свете,
большой,
бескорыстной,
готовой всегда

подать тебе руку,

уважить,

приветить,

на самые нежные чувства ответить

и горькую правду сказать без стыда?..

Что может быть доблестней, чем вдохновенье,

счастливых минут золотая пора,

когда, собираясь в железные звенья,

заветные мысли сбегают с пера?

Согретый приветливым, дружеским словом,

Можайский, как истый моряк боевой,

с веселым неистовством снова и снова

бросается вплавать по волне штормовой.

На самую глубь направляя усилия,

он лодочных скреп изучает борта,

подробно исследует мельницы крылья,

подводную тягу гребного винта.

Он верует,

чувствует:

нет, не напрасно

в исканиях годы промчались подряд!

Он видит вчерне уже близко и ясно

заветный

летательный свой аппарат:

снаряд обретет очертанья гондолы,

простертые крылья,

но будет притом

в сравнении с воздухом очень тяжелым,

влекомый могучим железным винтом.

«Что даст нам возня,— рассуждает

конструктор,—

с унылой теорией машущих крыл?

Видать, к голове не прикидывал рук-то
тот умник, что эту науку открыл.
Постойте, уж поднимусь на простор я,
тогда я вас, горе-ученых, дойму...
Беда только в том,

что не вижу подспоря,
приходится все добывать самому».
Чтоб строго и четко проверить на деле
своих убеждений запас дорогой,
Можайский немедленно строит модели,
игрушки-летуны,

одну за другой
из узеньких реек, из плотной бумаги,
из проволок, тоньше мышиных усов,
используя временно в качестве тяги
стальные пружины обычных часов.
По твердой наклонной легко разбегаясь,
летуны срываются с глади стола
и с силой парящего в небе орла
летят и летят

пустомелям на зависть.

Одна из них даже несет на спине
тяжелый,
металлом окованный кортик.

Ворчат староверы,

что там, в вышине,
модельною правит невидимый чертик.
В газетах открыто уже говорят:
«Можайский приблизил далекое небо!»
Что ж, есть чем гордиться!

Подобный снаряд
никем, кроме русских, опробован не был.

Надменная спесь, заграничная знать
от этих игрушек дошла до испуга:
ведь это уже невозможно назвать
курьезным слухом,

квadrатурoю крyга.

Не миф,

не загадочный сок-эликсир,
не грань философского камня искалась,
а дерзкая явь, раздвигавшая мир,
в талантливых русских руках оказалась.
Навострены уши, отточены перья,
установлены хищные волчьи глаза...
А он,

у великого стоя преддверья,
могучий,

ВОСТОРЖЕННЫЙ.

полный доверья,

не знает, что с Запада грянет гроза.

«Во имя отчизны, во имя России,—
писал он.—

я, частное слово, готов послушно пойти на лишения любые, хотя бы сулили мне службы иные почет, и покой, и дорогу цветов. Я, право, готов поступиться карьерой, отвыкнуть от моря, уязнута в долгах и только не в силах отречься от веры — настигнуть мечту, побывать в облаках! К тому же я нынче отнюдь не в просчете, я, кажется, твердый орешек рассек... Теперь мне нужна при дальнейшей работе большая модель, чтобы ею в полете уверенно мог управлять человек).

Уверовав в поиски строго и свято,
 Можайский, предвидя свое торжество,
 садится за сложный проект аппарата
 и делает с подлинным блеском его.
 Сомнения злой экспертизы рассеяв,
 распутав узлы всевозможных препон,
 опять, как и прежде,

помог Менделеев.

Надежда свершилась, проект утвержден!
 Взят новый разбег.

Ассигнованы средства.

Подводит к итогу прямая черта.

И мнится, что вот она тут, по соседству,
 под самой рукой, дорогая мечта.

Но хмарь надвигается с разных сторон —
 завистникам вторят лжецы-подпевалы,
 пригретые русским царем генералы,
 такие, как Паукер,

пруссский барон,

как Герн,

знаменитый мастак на скандалы.

Вместо того чтоб в пределах столичных
 для разных пройдох объявить карантин,
 их в Питер зазвал,

не жалея наличных,
 первейший знаток сюртуков заграничных,
 их дурье величество

князь Константин.

Они шаг за шагом стремятся пресечь
 удачу Можайского,

труд многолетний.

Они распускают грязные сплетни,
при этом коверкая русскую речь.
В научных кругах, и у князя в гостях,
и в тихой кофейной на Невском проспекте
они беззастенчиво лгут о проекте,
в основе его осмеяя и в частях.
Можайский был вынужден слушать их суд
сначала с тревогой, потом с удивленьем:
«Какую они ахинею несут,
а ходят в ученых, в России живут.
И где!

В инженерном сидят управленье!..
Какие в их лицах усмешки сквозят!..
Опять мне бубнят про подвижные крылья
и все,

что за долгие годы открыл я,
опять отрицают, толкают назад!
Можайский вначале заметно смущен,
подавлен невежеством,

обескуражен,
безрадостно, с горечью думает он:
«И это вот — люди науки...

Со стажем!
И сколько в них косности и слепоты,
у судей,

занявших такие посты!»
А судьи сидят, как пеньки, перед ним.
Нет, впрочем, они уже, кажется, встали.
Проплыли пред ним ордена и медали,
и он остается, отвергнутый, в зале,
одной только верой своею храним.
Как трудно колотится сердце в груди!
Чего там скрывать — за полвека устало.

Усталое сердце, постой, погоди,
быть может, не все еще в жизни пропало?
Отказано в средствах, так нужных теперь
для спешной работы в канун завершения!
В какую стучаться

чугунную дверь,
куда направлять чертежи и прошения?
Отправиться к Звереву?

Пуст кабинет.
Он болен серьезно, в беде не опора.
Печковского нет.

Менделеева нет¹
и, видимо, будет в России не скоро.
Ни в светских домах,

ни в тиши министерств
Можайский к рассвету пробиться не может.
Незримый ему указующий перст
препятствия делу городит и множит.
Но, схваченный тьмою, он верит в зарю.
Надеется.

Грезит.

Не спит до рассвета.
Он рапорты пишет.

Шлет письма царю.
Ничто и нигде не находит ответа.

13

Обидно.

Отравлено все существо.
Неужто душевные силы иссякли?

¹ Д. И. Менделеев в ту пору находился в длительной эмигрантской командировке.

Неужто источник терпенья его
в пути оказался исчерпан до капли?
А голос мечты?

Он звучит все сильней
и требует отклика, гонит усталость.

Нет,
только вперед,
до конца своих дней,
за ней,
за мечтой
за прекрасной,
за ней!

Надорваны силы,
но воля осталась!
Можайский уже отступить не мог,
препятствия в нем разбудили задиру.
Заложено в долгий, кабальный залог
имение в Вологде.

Серьги, брелок
жена отнесла старику ювелиру.

Продано все:
именные часы,
запонки,
брошь,
обручальные кольца.

Даже серебряный крест на весы,
смеясь, положил перекупщик-пропойца.
Заняты деньги у всех:

у родни,
у близких друзей,
у хороших знакомых.
Печальные месяцы.

Черные дни.

А сколько он,
гордый,
увидит потом их!

Пока еще пламя бушует в крови,
на сутки нельзя прерывать испытаний.
Развеются мысли — тогда их лови,
проси у холодной судьбы подаваний.

Вперед,
вдохновенье,
упрямо вперед!

В подмогу тебе выступает терпенье,
которым испытанный русский народ
так щедро снабдил не одно поколение.

Растратить всю страсть,
но достичь вышины,
на кальке небес вспыхнет родины имя!

...Черты габарита снаряда ясны.
Теперь для снаряда машины нужны.

И будут,
конечно,
они паровыми.

Испытанный двигатель!
Славный движок!

Но вот,
к сожаленью,
какая обида:

уж больно тяжел для воздушных дорог
и слишком,

к несчастью,
громоздкого вида.

Нет, надо придумать улучшенный, свой!

Можайский,
зажегшийся вновь,
увлеченный,
берет за основу котел паровой,
но двигатель делает не грузовой —
повышенной мощности, но обремененный.
Пускай ожидают
невзгоды,
разор,
пускай упущенья,
пускай неудачи.
Но только не поздних ошибок позор,
не горестный путь отступленья
тем паче!
Нет, есть еще божия искра в мозгу,
и руки как руки, не слепок из гипса,
согнут, если надо, форштевень в дугу.
— Могy! —
вослицает Можайский. —
Могy!

Машины потянут! —
И он не ошибся.

14

В окрестностях Питера, в Красном Селе,
в июле, в отменно сухую погоду,
за новым забором на голой земле
стоял самолет головою к восходу.
Едва только зорька над полем аизошла
и в роще ударил топор дровосека,
под сенью простертого в просинь крыла
сошлись озабоченных три человека.

Три верных помощника.

(Им до утра

вчера не спалось и позавчера,
дремать не дремалось до ласточек ранних.)

Два опытных мастера, два столяра
и смелый умелец, бывалый механик.

— Пока самого-то еще не видать,
давайте покрепче, товарищи-друзи,
проверим рули да подтянем подпруги...

— Силен получился!

— Силен... Благодаты!

— Ведь сколько деньжищ-то убухано!
Страсть!

— Уж ты его, братец,
веди аккуратно!

— А вдруг упадет он?

— Не должен упасть! —
под самым крылом появляясь внезапно,
вставляет четвертый, лукаво смеясь.
Четвертый,

он тоже сегодня чуть свет
вскочил со своей беспокойной постели.
Он был в полотняную робу одет,
глаза воспаленно и жадно блестели.
— Ну как?

Не качается первенец наш?
— Стоит, не качается!..

— Честное слово?

— А ну-ка, проверь, не слабеет ли тяж,
прогреем на малых...

— Готово?

— Готово! —

И вновь и опять он нажимом руки
приводит сердца механизмов в движение,
настойчиво пробует все рычаги
и слушает пульса стального биенье.
Кипит, нарастает дневная работа —
испытан и выверен каждый пустяк,
но все же Можайскому кажется: что-то
в отдельных деталях как будто не так.
Можайский донельзя пропах керосином,
смешались за воротом копоть и пот...
А в неба июля, погожем и синем,
высокое солнце на полдень идет.
Безветренным зноем нещадно палимы,
у взлетной дорожки уже собрались
взволнованный Спицын,

профессор Алымов
и много других уважаемых лиц.
Ученые люди.

Военная знать.

Ну что же!

Приблизился час испытанья.
Держись, капитан,
только, чур, не пенять,
пора наконец уяснить и понять,
что подан сигнал исполненья желанья.

15

Он разом привстал над притихшей толпою,
веселый,
открытый,
простой, как всегда.

Помедлил немного, потряхнул головою
и громко, с душой произнес:
— Господа!
Мы должный восторг отдаем появлению
воздушного шара.

Но как его бег
направить вперед не по злому велению
случайного ветра, а в том направлении,
в котором желает лететь человек?
Столетиями дерзкие люди земли
на разных широтах огромного света
упорно и долго искали ответа
на этот вопрос.

И найти не смогли.
Но надо ж кому-то ответить! Ведь надо!
Довольно по ветру летать без рулей.
И тут победит не словесный елей,
а мощная тяга такого снаряда,
чтоб воздуха был он всегда тяжелей.
Признаюсь:

мой путь был тернист и тяжел.
Я насмерть сражался с теорией ложной,
измучился в поисках силы надежной.
И я,
господа,

эту силу нашел!
Я прежде всего благодарен друзьям,
всем тем, кто в тяжелую, горькую пору
крепил во мне веру, давал мне опору...—
Можайский поднес было руку к глазам,
почувствовал близкие слезы, смутился,
но взял себя в руки, вздохнул, оживился:
— Я кланяюсь тем, кто поверил в мечту,

кто вместе со мною надежду упрочил:
друзьям-морякам,

инженерам,

рабочим,

которых вы видите здесь, на посту.
Я счастлив сегодня, я искренне рад
и верю, что вы эту радость поймете...
Сейчас вы увидите мой аппарат
в полете!

Придет еще время, я знаю, придет,—
Россия расправит широкие плечи
и вылетит

утренней правде навстречу
ее от рожденья крылатый народ! —
При этих словах его голос взлетел
на самую верхнюю звонкую ноту,
как будто упрямо окликнуть хотел
всю землю,

весь мир, погруженный в дремоту.
Вся жизнь,

как буря,

пронеслась перед ним.

Все ранние радости, все огорченья,
хождение по мукам, по тропам глухим.
Но это теперь не имело значения.
Эх, сесть бы сейчас самому на корму,
ведь есть еще силы немалый остаток!..
Эх, если б ему полететь самому!
Да поздно...

Шестой истекает десяток.
Все в полном порядке.

Открыты ворота.
Снаряд водружен на дощатый настил.

— Ну, пробуем, с богом! —

Винтов обороты
достигли предела. Как конь без удил,
крылатый, поджарый,

закутанный в дым,
снаряд словно чуял открытое поле.
И все, кто стояли вокруг, поневоле,
не смея вздохнуть, любовались им.
Проснулась в машинах могучая сила,
снаряд весь напрягся,

запел,
задрожал
и, как бы очнувшись, легко побежал
по твердой дорожке прямого настила,
по струганым доскам,
с уклона,
с уклона.

Мгновенье —

колеса вприпрыжку пошли
навстречу ромашкам, над кромкой зеленой
и вдруг отделились от грешной земли.
— Летит! —

раздалось над полынным простором.
— Глядите же!

Частное слово, летит! —
В едином порыве, с веселым напором
«ура!» раскатилось.

Не помня обид,
не чуя от радости ног под собою,
внезапно и сказочно став молодым,
Можайский бежал за созданием своим,
за тяжелой, прекрасной своею судьбою,
за гордой мечтой, завоеванной с бою,

за первой, последней любовью хмельною,
за ясным, волшебным рождением вторым.
Бежал как безумный, не чувствуя ноши,
всей грудью дыша, приминая цветы,
не видя, не слыша, как били в ладоши,
как в знойное небо цветистой порошей
летели фуражки,

перчатки, зонты.

Бежал, как безусый юнец, без оглядки,
шепча неприкаянной клятвы слова,
по знойному полю до места посадки,
до ближней межи своего торжества.
Его поздравляли,

его обнимали,

бросали ему за вопросом вопрос,
но он поздравляющих видел едва ли
сквозь радостный ливень прорвавшихся слез.
В тот день он, конечно, и думать не мог,
что вскорости будет обманут, оболган,
что счастья его погрузится надолго
в глухое безвременье, в бездну тревог,
что подвиг его будет продан, и предан,
и злобным стараньем чужих языков
объявлен обычным несбыточным бредом,
и заперт от правды на тыщи замков.

16

Можайский!

Открывшийся миру!

Живой!

Взгляни, как, роняя лучи проливные,

высокое солнце Советской России
сияет над самой твоей головой.
Три четверти века тяжеле свинца
прошли над тобою, пока рассветало.
И вихрь справедливости сдул покрывало
с пылающих глаз,

с молодого лица.

Мы в радужном небе тебя узнаем
по дымному следу,

по грозному звуку.

Мы жмем твою сильную умную руку
и славим несущийся по небу гром.
Мы, люди простые и люди науки,
отныне родним с тобой думу и стих.
Мы,

вестники правды,

крылатые внуки,

наследники смелых открытий твоих.

Так пусть же запомнят на веки веков
на Сене,

на Темзе,

Гудзоне,

Ла-Манше,

что звонкая песня воздушных винтов
возникла у невиских крутых берегов
других голосов

убежденной

и раньше!

Да, истина видит:

рожден самолет

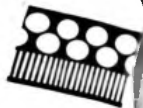
не братьями Райт и не Ленгли хваленым,
а скромным и доблестным русским ученым,
разведчиком тайных небесных высот.

Можайский!

Ты — близкий,
ты — кровный,
ты — наш!

И небо над честною родиной наше,
и нет его чище, и нет его краше,
и ты его, друг, никому не отдашь.

Сузуми — Москва
1949—1952



ДЕВУШКА В КРАСНОМ

Вам нравится девушка в красном?
Она симпатична и мне.
В своем полыхающем платье
она словно в вечном огне.

Глаза переполнены светом,
движенья легки и строги,
прямая уверенность речи,
мужское пожатье руки.

То книга лежит перед нею,
то в ярких разводах шитье.
Но что же она совершила,
за что уважают ее?

А то, что в военную пору
у хмурой Москвы на глазах
осталась она сиротою
с сестренкой малой на руках.

Отец был убит в рукопашной
в глубокой разведке в Крыму,
а мать умерла от разлуки,
от страшной тоски по нему.

Остались две сирых девчонки
на голой судьбы произвол.
Три годика младшей минуло,
тринадцатый старшей пошел.

Две лодочки, вдруг потерявших
родительских рук паруса.
У младшей, у Настеньки, — челка,
у старшей, у Любы, — коса.

Два ласковых робких сердечка,
две капельки в море беды.
Одна — как степной одуванчик,
другая — как цвет резеды.

И холод, и голод узнали,
и вздохов людских разнбой,
и плач поредевших соседей,
и горечь опеки скупой.

Меньшую немедля хотели
в Челябинск отправить, в детдом,
но старшая твердо сказала:
— Не надо. И так проживем!

Так тихо и грозно сказала
и так посмотрела притом,
что вздрогнул невольно выдавший
немало угроз управдом.

Нет, Люба никак не хотела
жить с маленькой Настенькой врозь.
И тут настоящее чудо
на русской земле началось.

Узнала, разведала Люба,
дорогу к спасенью нашла
и к дальней ремесленной школе
летать начала, как пчела.

Старалась — училась, трудилась,
другим подавала пример —
и вышла из цепкой напасти
на самый счастливый манер.

Рабочий паек получила
(оценку дают по делам!)
и стала паек ежедневно
делить на двоих пополам.

И с младшей справлялась. Но как же?
Вы вправе спросить в свой черед.
А так вот — справлялась, и все тут!
Как вспомнит, так сердце замрет.

То добрых людей умоляла
дать Насе хоть каплю тепла,
то дома на риск запирала
и встречи, как зорьки, ждала.

А если случалась задержка —
в тревоге сходила с ума.
Варила, лечила, стирала.
Одежку латала сама.

Спешила, бывало, до дому,
в мазуте испачкавшись вся,
дымящийся сверток с едою
под стеганкой Насе неся.

Кормила сестренку, поила,
меняла ей на ночь белье,
умелой рукой подстригала
упрямую челку ее.

Жалела, ласкала, любила,
как куколку, клала в кровать.
И младшая старшую стала
нечаянно мамою звать.

Вам нравится девушка в красном?
Да что говорить — неплоха.
Дай бог обязательно встретить
хорошего ей жениха.

1959

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

(Поэма о Коле)

В Зауралье, в Курганской области,
в селе Колесникове, на видном месте
стоит скромный каменный обелиск.

На белом мраморе надпись:
«Здесь похоронен пионер Коля Мя-
готин, зверски убитый кулаками 25 ок-
тября 1932 года».

1

Давно это было, давно это было.
По-русски оплакав — разгневанно, вволю! —
народная память его сохранила,
героя-мальчонку, Мяготина Колю.

Он так и встает в полный рост перед вами,
как цепкий дубок из крутого подлеска,
с упрямым смешным вихорком над бровями,
спаленным полуденным солнцем до блеска.

Исчерпана долгого времени мера.
И сроки настали — настигло, приспело
поднять мне в стихах земляка-пионера,
погибшего в схватке за правое дело.

Я всем своим домыслом явственно чую —
как конь на ходу чует землю подковой —
тревожную Колину душу большую,
сибирский радушный характер кремневый.

В пшеничном разливе, в картофельной лунке,
в березовом шуме, в сосновом настое
живут его светлые юные думки,
стучится сердечко его золотое.

2

По Заречью, по Заречью,
знаем ласковым палимым,
он шагает, а навстречу —
запах мяты и полыни.

Писк встревоженных полевков,
крики чибисов и чаек —
постоялок камышовых,
заливных низин хозяек.

Вьются птицы, задыхаясь,
от середины и до края
гулевой волны касаясь,
на ветру перо теряя.

А за ними, а за ними,
сея ужас в птичьих гнездах,
злыми крыльями своими
бурый коршун режет воздух.

Вот бы дать бы из рогатки
по разбойнику степному,
подшибить — и взятки гладки! —
да скорее надо к дому.

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

(Поэма о Коле)

В Зауралье, в Курганской области,
в село Колесникове, на видном месте
стоит скромный каменный обелиск.

На белом мраморе надпись:
«Здесь похоронен пионер Коля Мя-
готин, зверски убитый хулаками 25 ок-
тября 1932 года».

Давно это было, давно это было.
По-русски оплакав — разгневанно, вволю! —
народная память его сохранила,
героя-мальчонку, Мяготина Колю.

Он так и встает в полный рост перед вами,
как цепкий дубок из крутого подлеса,
с упрямым смешным вихорком над бровями,
спаленным полуденным солнцем до блеска.

Исчерпана долгого времени мера.
И сроки настали — настигло, приспело
поднять мне в стихах земляка-пионера,
погибшего в схватке за правое дело.

Я всем своим домysлом явственно чую —
и на ходу чует землю подковой —
Колину душу большую,
адушный характер кремневый.

В пшеничном разливе, в картофельной лунке,
в берзовом шуме, в сосновом настое
живут его светлые юные думки,
стучится сердечко его золотое.

2

По Заречью, по Заречью,
знаем ласковым палимый,
он шагает, а навстречу —
запах мяты и полыни.

Писк встревоженных полевков,
крики чибигов и чаек —
постоянок камышовых,
заливных низин хозяек.

Вьются птицы, задыхаясь,
от середины и до края
гулевой волны касаясь,
на ветру перо теряя.

А за ними, а за ними,
сея ужас в птичьих гнездах,
злыми крыльями своими
бурий коршун режет воздух.

Вот бы дать бы из рогатки
по разбойнику степному,
подшибить — и взятки гладки! —
да скорве надо к дому.

Небо пологом из ситца
тянет в поле, тянет в пади,
да нет времени носиться
просто так, забавы ради.

Скучно все же на приколе,
что скрывать, на жизнь — полова.
Но ведь нынче в доме Коля
вроде как бы за большого.

Надо дно ушить у бата¹,
про запас надрать бересты.
Пусть не хвастают ребята,
это все-таки не просто.

Наколоть дровац на сушку,
двор подмести. К тому ж придется
наносить воды в кадушку
из далекого колодца.

По хозяйству дела много,
совладать со всем трудненько.
...Возле двух озер, у лога,
распласталась деревенька.

Половодье вышло в поймы,
Пляшут волны у закраин.
...Тятки нету. Тятка помер,
колчаковцами замаян.

¹ Б а т — челн.

Голый ветер спозаранку
воет, ветлы колыхая.
...Мамка есть. Да больно мамку
источила хворь лихая.

Надо ей помочь крепиться,
чтобы было все в порядке...
Поздний час. Пора садиться
за заветные тетрадки.

3

А события такие
по округе развернулись,
словно вырвалась стихия
на застой крестьянских улиц.

Новый мир пошел на старый,
на дремучий, на кондовый,
всякий раз звериной сварой
вдруг ощериться готовый.

Агитатор из ликбеза
в картузе или в косынке —
против лотного обреза
и в рукав зашитой финки.

Зипунишко издалече —
против здешенской борчатки,
прямота открытой речи —
против спрятанной свинчатки.

Смотрит Колька, слышит Колька,
примечает поимённо:
сколько тётъ и дядей сколько,
и своих и из района!

Чутко мальчик понимает,
на своих и пришлых глядя:
этот правду защищает,
а вот тот — опасный дядя.

Прямо — свет неотразимый,
а направо — темь и злоба.
Тут не то что быть разиней,
а глядеть все время в оба.

Даже взрослым трудновато,
даже самым закаленным...

4

Жаркий год двадцать девятый
звать «великим переломом».

5

Да, Колесниково встало
колесом среди равнины,
разделившись близ увала
как бы на две половины:

на Большую — основную,
всю в хорамах тугобрюхих,

и на Малую — степную,
всю в залатанных малухах¹.

В Малой — избы бедной кройки,
не до жиру, быть бы живу,
а в Большой стоят постройки
под гребенку, по ранжиру.

Что ни дом — тяжел как камень,
пялит бельма, будто инок,
по-медвежьим стояками
уцепившись за суглинок.

Бревна — чуть не в два обхвата
и кирпичная основа.
И всех выше дом богатый
кулака Луки Сычева.

По карнизу, как гвоздика,
лента-вязь резным подзором.
И забор матер. Поди-ка
знай, что робят за забором.

Сам-то выслан. Но остались
на селе два кровных братца —
темя в темя, палец в палец,
два тупых старообрядца.

С виду вроде разноперы,
а подбор-то одинаков:
тихоблуды, мародеры,
два сыча — Фотей да Яков.

¹ Малухи — пристройки.

Нет у них надежней друга,
чем вернувшийся из ссылки
Ванька Вахрушев — пьянчуга,
верный раб, слуга бутылки.

У него в деревне Малой
мать живет и два брата,
но торчит отплетый малый
у Сычевых беспрестанно.

Видно, дома-то Ивану
сладу нет ни на копейку,
он и с трезвости и спьяну
материт свою семейку:

«Ох, с родней я с этой маюсь!
Вот кровя, не дай ты бже!
Я хорек, не отпираюсь,
но и сродственнички тоже!»

Достают мне до печенок
их луженой пробы хайла.
Младший, Петька, что волчонок,
а ишшо чумней Михайло.

Но я их обох корежу,
да и мать трясу, как грушу.
Хомяки, костыль им в кожу,
грызуны, осот им в душу!»

Старший бродит-колобродит,
младший — тянет лямку в школе.

Однокашником выходит
он Мяготиному Коле.

Школа малость на отшибе,
на пустующей поляне,
за сквозными небольшими
молодыми тополями.

Две зимы уж миновало
с той поры, как вниз по доли,
с букварем, с бруском пенала
ходит Коля в эту школу.

Говорлив конец апреля!
Снег исчез у хосогора,
пашни высохнуть успели,
зеленя забрезжат скоро.

Утро выдалось сегодня —
прямо чудо, загляденье.
День обычный, день субботний,
а похож на воскресенье.

Сок березы полнит кружку,
благодать вокруг какая.
Рябятня спешит, друг дружку
по привычке оклика.

Вот и Петька повстречался.
Речь его полна значения:
дескать, старосте-начальству
наша с кисточкой почтение.

Голова торчит, как редька,
науклюжая в поклоне.
— Здравствуй, Колька!
— Здравствуй, Петька!
— Чтой-то ты наряжен ноне?

И действительно: Мяготин
весь сиял, как по заказу.
Чтоб случиться ни могло там,—
не был он таким ни разу.

По живым глазенкам добрым,
по размеренному жесту
сразу видно: Коля собран
и особенно торжествен.

Пиджачок застегнут баско,
приторочен ранец веско,
и ботинки черной ваксой
отработаны до блеска.

Петька все отлично знает
(просто он хитрит без меры!),
знает, плут, что принимают
нынче Колю в пионеры.

Петька морщится для вида,
хорохорится, кривляясь,

а нутро грызет обида,
подсознательная зависть.

Может, он и сам хотел бы
в пионеры записаться,
красный клинышек надел бы
и пошел бы красоваться...

Правда, Петькины отметки
на него ложатся тенью,
круглый год к тому ж у Петьки
равно кол по поведению.

8

Накануне Первомая
в шуме птичьих переливов
просигналил горн, сзывая
ребятишек говорливых.

В краткий роздых перемены,
как ударники на жатву,
собрались юнцы мгновенно
на торжественную клятву.

Даже вёрткий Петька замер
(тут охальничать посмей-ка!).
В тихом классе на экзамен —
пионерская линейка.

Пять лихих вихров фасонных,
набок смятых картузами!
Пять косичек, заплетенных
туго, словно в наказанье!

Строй глядит молодцевато,
и учительница тоже
разрумянилась: — Ребята!
Что на свете есть дороже,

чем Советская держава,
под крылатою звездою,
боевая честь и слава —
знамя Ленина святое?!

Обещайте же, родные,
жить на свете и учиться
так, чтоб Родина отныне
вами впрямь могла гордиться!.

Речь учительницы манит,
вдаль зовет, навстречу стягу,
словно золотом чеканит
пионерскую присягу.

Говорит она, яснея,
с расстановкою, толково.
И ребята вслед за нею
повторяют слово в слово.

Вот учительница стоя:
«Поздравляю вас!» — сказала,
и умолкнувшему строю
красный галстук повязала.

Вспыхнул он, сплошным румянцем
озарив ребячьи щеки,
призывая всех равняться
на святой пример высокий.

Сердце бьется поневоле
учащенно, беспокойно.
«Обещаю,— шепчет Коля,—
обещаю жить достойно!»

Тихо шепчет. А сдается,
это слово «обещаю»
непослушно раздается
по всему родному краю...

9

Летних сборищ завсегдатай,
он с ребятами в союзе,
верный спутник бородатый,
непременный дядя Кузя.

Постоянный друг ребячий,
все он видит, все он может.
Хочешь — свяжет плот рыбачий,
хочешь — суслика стреножит.

Хочешь — волка обращает
(подползет к нему овечкой!),
хочешь — если пожелает —
подкует сверчка за печкой.

Иль сваляет мяч из шерсти,
на всамделишный похожий,
да обтянет честь по чести
сыромятной белой кожей.

Иль такие подвесные
смастерит весной качели,
что ребята вместе с ними
в облаках не тонут еле.

Все он, дядя Кузя, знает
и в чащобе и в затоне,
и вода и глушь лесная
у него как на ладони.

Уступая путь друг другу,
хитрой выдумкой согреты,
чередом идут по кругу
дяди Кузины советы:

как избавить чан от течи,
где красней найти костянку,
где поставить снасть под вечер,
а где лучше — спозаранку.

Любят дядю Кузю дети,
по заслугам любят, крепко.
Добрый дед! Табак — в кисете,
перочинный нож — на цепке.

На щеке — рубец багровый,
словно дратвина продета,—
пролегла полуподковой
колчаковских пыток мета.

За Тоболом, близ Кургана,
беяки решили в кузне
«выжечь дурь» из партизана.
Да не сдался дядя Кузя!

Принял муки, смолк до корня,
чудом выжил, ад изведав,
но с тех пор еще упорней
драться стал за власть Советов.

Все прошел пути-дороги
жесткой жизни партизанской,
как герой подвел итоги
проливной войны гражданской:

две награды, три увечья —
хром, сутул, лицо со шрамом.
А в колхоз вступил в Заречье,
почитай что первым самым.

Счастье трудного маршрута
кровью смерил честный воин...

Но сегодня почему-то
чем-то старый недоволен.

Беспокойный и суровый,
раскрасневшись, как с мороза,
входит он, нахмутив брови,
в дом правления колхоза.

Плащ-брезентку распоясав,
заявляет напрямую:
— Почему ж мы лоботрясов
запускаем в кладовую?!

Ванька Вахрушев с Сычевым
нанялись в колхоз работать!
Да ведь это, право слово,
не работники, а копоты!

Неужели не понятно,
кто к нам исподволь сочится?
На кого потом пенять нам,
если что не так случится?

Где в селе найдешь беспутней
этих самых... закадычных,
этих двух кулацких трутней,
злых шкур единоличных?

Нет, товарищи, напрасно
класть друг другу в ухо вьюшку,
вешать бдительность на прясло,
как вехотку¹ на просушку!

Нет, еще не время, братцы,
закрывать глаза на гадин.
Могут взять и разыграться,
если ход им будет даден!..

В переделку взятый сразу,
председатель сельсовета
ни единой дельной фразы
не находит для ответа:

— Это истина святая,
это правда... Оба гада!
Но ведь рук-то не хватает,
слышь, Кузьма, а робить надо.

¹ Вехотка — мочалка.

Это верно... Не перачу...
Зря не кинусь в перепалку.

Кузя — в сени. А навстречу
Ванька Вахрушев вразвалку.

— Вот он! Легок на помине.

Сколько ноне выпил?

— Флягу...

— Где заспал глаза?

— В овине.

— Что видал во сне?

— Кулагу.

— Всю слизал?

— Да, напился,
на семь дён вперед надулся!

— Жалко, что не догадался
околоть, когда проснулся!

— Дядя Кузя! Как заноза,
стал ты к старости, ей-богу.
Аль не в счет, что для колхоза
я теперь иду в подмогу?

И добавил, глазки сузя:

— Вот... порукой... крест

нательный!

— Что мне крест! — отрезал

Кузя.—

Мне дороже хлеб артельный!

Надо ж было так случиться,
чтоб по поводу пустому
вздумал Коля отлучиться
в этот поздний час из дому!

Просто вышел побродяжить,
поглядеть на звезды малость,
а прогулка очень даже
любопытной оказалась!

Осмотрел свои плетенки
в мелкой заводи, вернулся,
обогнул осинник тонкий
и... на Петьку натолкнулся!

Петька плакал. Плакал горько,
сжавшись весь, щекой рябою
приминая пыль пригорка.
— Слушай, Петя, что с тобою!

Навесной росой затянут,
мальчуган дрожал, как заяц.
— Я боюсь их... Бить ведь станут,—
повторял он, озираясь.

— Кто? Куда рукой-то кажешь?
Назови хоть для примера!
— Побожись, что не расскажешь!
— Верь мне, слово пионера!

Петька тут же напрямую
однокласснику поведал,
как он тайну воровскую
непредвиденно разведал:

— Понимаешь, мать к Сычевым
прогнала меня за братом.
Позови, дескать, старшего
да вертай скорей обратно.

Ну, прибег я... Дверь заперта.
Неспроста, видать, засели!
Раз изюм такого сорта,
я, конечно, ухо — к щели.

Чуял плохо, врать не стану,
но запомнил в темноте я,
что сказал всуерьез Ивану
голос дяденьки Фотей:

«Спрячем хлеб с телегой вместе
в Коробейниковой чаще,
в этом, мол, треклятом месте
вить веревки подходяще.

Ночью двинешь до Кургана,
темнота, мол, не глазаста,
а в Кургане утром рано
на базар свезешь — и баста».

Только я оставил щелку,
отвернулся, оторвался,
а Фотей меня за холку
цап-царап: «Откуда взялся?!

Слушал, пес, что мы решали?
Отвечай! Я испужался,
отпираться стал вначале,
а потом во всем признался.

Ой, в какую влез я клетку!
Никудышный случай вышел!..

Но запуганного Петьку
Николай уже не слышал.

Он в одно мгновенье ока
стригуном сорвался с места.
Ох, далёко, ох, далёко
Коробейниковый лес-то!

Мимо спящих ветел! Мимо
сонной мельницы соловой!
Напрямки. Неудержимо!
Мимо сметанной соломы!

Мимо просеки у лог!
Мимо лапчатых развилин,
где — ни мало и ни много, —
говорят, гнездится филин!

Мимо вьлчатого вала,
где стволы переплелися,
где — ни много и ни мало, —
слышал Коля, рыщут рыси!

Слева — яма, топь — направо,
прямо — заваль сухостоя.
Кто торчит там? Пень трухлявый.
Сходство с пугалом простое!

Кто кричит? Ночная птица.
Сердце бьется чаще, чаще...
Только бы не заблудиться
в Коробейниковой чаще!

Вот и царство нежилое —
запустелая гнилушка,
Коробейникова, в хаосе
утонувшая избушка.

Глухо. Боязно. Дремуче.
Хоть чуть-чуть, хоть на немножко
посвети, луна, сквозь тучи,
разыщи во мгле окошко!

Так и есть! В немом овражке,
недалече от полянки,
Ванька Вахрушев в фуражке
и Фотей Сычев в ушанке.

Запыхавшись, как с разбегу,
плотной, грузной вереницей
ловко ставят на телегу
под брезент мешки с пшеницей.

Все понятно! Все понятно!
То, что мнилось, навстречу всплыло.
Поскорей теперь обратно
возвращаться надо было.

По горбам слепой дороги,
по колючкам, без настила
донесли бы только ноги,
силы только бы хватило!

Снова заволочь паучья,
снова пень трухлявый, снова
ямы, топи, корни, сучья,
лог у просеки сосновой.

Вот и дремлющие ветлы,
вот и сходни полосаты,
вот и щучья заводь, вот и
гумна, крыши, палисады.

Блещет, словно в ставню впаян,
фителек ночного света.
А у лампы сам хозяин —
председатель сельсовета.
Он сложил газету вдвое:
Спать ложиться не пора ли?

— Дядя Мыльников! Худое...
Наш колхозный хлеб украли!

Председатель, будто в нору,
глянул в фортку: — Что такое?!
Вот сопляки! Об эту пору
не дает людям покоя!

— Хлеб уже в лесу... Далёко!
Я же вправду говорю вам!..
— Что ты долбишь, как сорока
по порожней кринке клювом!
Ты скажи ладом...—

И Коля,
второпях присев на кадку,

картузок в руке мозоля,
доложил все по порядку.

Хрюкнул Мыльников, как порос,
почесал скулу-щетину,
растопырил локти порознь
и сказал, согласно чину:

— Слушай, парень, ты в уме ли?
Ври, да зря не завирайся.
Хоть всю ночь мели, Емеля,
да в муке не зарывайся.

Допускать, пожалуй, нужно
нарушение общих правил...
Но я сам же после ужина
на току охрану ставил!

Стража с хлеба глаз не сводит,
а ты мелешь... Чушь какая!
Хлеб, по-твоему, выходит,
на хвостах дрозды таскают?

Ты давай... того... приятель,
не сподобься вертопраху! —
Не поверил председатель
и захлопнул фортку с маху.

Потому ль, что в сладкой дреме,
потерял возжу-мыслишку,
оттого ль, что, кваса кроме,
принял на ночь водки лишку.

Переключкою утиной,
в расшивной баграц одето,
домотканой паутиной
прилетело бабье лето.

Разбредлось по тихим тропам,
жаром листьев полыхая,
луком, солодом, укропом
за сто верст благоухая.

Заразительно и вкусно,
с аппетитом то и дело
кочерыжкой капустной
в каждом доме захрустело.

Светясь радостью великой,
улеглось рядком, красуясь,
огурцом, груздем, брусникой
в жбан, в корчагу, в легкий туюс.

Гомоня словцом веселым,
под тяжелой ношей горбясь,
хмелем, пряностью, рассолом
опустилось в темный голбец.

Вёдро! Даже осушилась
часть застойного болота.
Не страда пришла, а милость,
благодать для обмолота.

Всё — к успеху, всё — к удаче,
грех подумать об уроне.

12

А колхоз по хлебосдаче
шел в хвосте во всем районе.

13

Знать, Кузьма глядел как в воду.
Что ни день — в колхозе случай:
то груженую подводу
занесет на грунт зыбучий,

то солома вспыхнет в копнах,
то утонет хряк в колодце,
то привод ременный лопнет,
то шлея, то гуж порвется.

Кто-то нагло портил тягу,
жег снопы, калечил сбрую,
хоронясь, давая тягу,
крал, вредил напропалую.

Днем схватить воров пытались,
по ночам дозор дежурил,
но мошенники скрывались,
а не пойманный — не жулик.

Подозрение — вроде сажки:
чернота, но не улика,
а попробуй-ка пропажу
по наитию сваля-ка!



Тут греха не оберешься,
и обид не сосчитаешь,
и виновных не добьешься,
и безвинных потеряешь.

Вот тогда-то, выйдя в поле,
без отсрочки, по секрету
и решил Мяготин Коля
написать письмо в газету.

14

Буква к букве, к слову слово,
от заглавия до точки
прямоком, без остановки
побежали струйки-строчки:

«Уважаемые дяди,
уважаемые тети!
Я надеюсь, что меня вы
обязательно поймете.

В молодом колхозе нашем
все стараются трудиться.
Но есть жулики, И надо
нам от них освободиться.

Я застал их за покражей
и немедленно про это
рассказал, как было дело,
председателю Совета.

Только он чудной какой-то!
Не дослушал толком даже,
за мою же правду тут же
напустился на меня же.

«Блажь! — кричит. — Сдурел!
Придумал!»

А к чему она мне, блажь-то?
Окрастил вруном ни про что,
сопляком назвал ни за что.

Он, мне кажется, боится
угодить на щит позора,
потому и не выносит
из избы наружу сора.

Просто сердце от обиды
разрывается на части,
если знаешь: вот он, рядом,
ходит «враг Советской власти!»

Точка, точка, запятая.
Цель надежна, как подпруга.
Мысли льются, настигая,
набегая друг на друга.

Может быть, не шибко складно,
может быть, не больно гладко,
но зато по фактам ладно
заполняется тетрадка.

Без боязни пишет Коля,
перед ним — мечта большая,
не отступит он, доколе
кривда правде жить мешает.

15

Вслед за хлесткою заметкой,
появившейся в печати,
полетел стрелою меткой
громкий говор непочатый:

— Наконец беда пройдохам!
— Засекли кота на сале!
— Ну, теперь причешут чохом,
коль в газете прописали!

— Кто ж писал? Кузьма?
— Да где там!
— Грамотей, ученый кто-то..
— Говорят, что, по приметам,
пионерских рук работа!

То ли кто разведал, то ли
разболтал, но о сигнале —
о письме-тетрадке Коли —
даже недруги узнали.

Встретил Колю возле брода
Ванька Вахрушев ушастый:
— Ты, бесштанная порода,
красным клином-то не хвастай!

Я ить враз петлю сварганю
из цветного лоскуточка.
Встрену, с ходу заарканю,
подтяну к сучку — и точка!

Прохрипел. Качнулся вправо
жидким корпусом, поджарым,
обдал густо и слюняво
самогонным перегаром.

Глазки — щелки, грудь — дугою,
руки — в боки, как поленья.
Интересно, мол, какое
произвел я впечатление?

Но на наглую угрозу
Коля дал ответ не сразу.
Увернулся за березу
и такую бросил фразу:

— Не пужай! Я не пужливый.
Не похож на трясогузку.
Так что шиш тебе со сливой
на вино и на закуску.

Можешь брать — и в путь-дорогу,
если полностью навьючишь.
А за кряжу-то, ей-богу,
ты еще свое получишь!

Ванька даже поперхнулся
смелым Колиным ответом
и, конечно, матюкнулся
в три оглоблины при этом.

Замахнулся было палкой,
да увидел: цель пропала.
И своей походкой валкой
зашагал в камыш устало.

16

Время в стойло не запятишь,
не загонишь хворостиной,
не замаслишь, не запрячешь
в тальниковый короб длинный.

Неожиданно разыграла
осень, ранняя и злая,
от деревни до увала
белый иней выстилая.

Стужа землю прихватила,
птиц, зверье взяла на привязь.
Даже рыба в темень ила
в тихом озере зарылась.

В колках песни отзвучали,
сникли сны на сеновале,
ледяными обручами
ветры-злыдни засновали.

А в избе тепло и сухо.
Кот мурлычет (лежебока!),
да доносится до слуха
стук цепов, летящий с тока.

Заждалась в снопах пшеница,
припозднились с молотьбою...

Кто пришел там? Кто стучится?
Кто несет мороз с собою?

Чьи в пимах, подшитых кожей,
у ворот мелькнули ноги?

Двери — настежь. С редькой схожий,
Петька мнется на пороге.

Входит медленно, сторожко,
как и старший брат, «раскачку»:
— Коля, выручи немножко,
помоги решить задачку...

Мать на Колю поглядела:
что ж, сходи, мол, ненадолго,
подсобить — святое дело,
это как бы «роде долга.

Вышли двое за ворота,
говорит один другому:
— Знаешь, Кольша, неохота
мне спешить обратно к дому.

Лучше в поле, по дороге
за подсолнухами вдарим!..
— Ты ж хотел учить уроки?!
— Опосля уху доварим!

Самому с собой сражаться
в детстве, видимо, напрасно,
трудно в детстве удержаться
от веселого соблазна.

Что-то очень зазывное
есть в любом простом запрете.

Вот уже и в поле двое.
Но откуда взялся третий?

Не скотина, не детина,
не заморан, не откормлен —
долговязая жердина,
кверху поднятая комлем.

Он, напившись спозаранку,
озираясь поминутно,
волокет с собой берданку
за спиною почему-то.

Коля встал, прикинуть силась
(подозренье сердца гложет!):
«Неужели говорились?
Быть не может, быть не может!

Почему же Петька скрылся?
Что же это: сговор? Или...»
Коля вновь остановился:
«Неужели заманили?»

А вахлак с берданкой рыжей
не идет уже — крадется,

вкривь, к подсолнечникам ближа,
в кочки, через болотце.

Вот уже он сбоку... Рядом.
Пьяный... Заспанный... Обвислый...
Может быть, утечь по грядам?
Поздно!

Глухо грянул выстрел.

Опрокинулось мгновенно
небо равное дневное,
облаков седая пена
свисла в кочки перегоня.

Снегири, щеглы, синицы!
Колю в гости вы не ждите.
Навсегда смежив ресницы,
он теперь уже не житель.

Он лежит, раскинув руки,
слова вымолвить не может,
окружающие звуки
сердце больше не тревожат.

Никакой не чувствует боли,
снег на бледном лбу не тает,
нету Коли, нету Коли,
след пороша замечает...

Стынет зыбкая трясина,
кружит колкая пороша,
гнется жалкая осина,
ветки голые ероша,

На бугре кричит ворона,
чистит перья снежным мелом...
От остывшего патрона
пахнет порохом сгорелым.

Шелест колков, тишь поскотин!
Коля встречу вам не выйдет,
не поднимется Мяготин:
обожгла картечь навывлет.

В трудный час малец не струсил!
Алый выпел, красный галстук,
сохраняя крепкий узел,
на ветру не развязался!

Кровь из раны, кровь из раны
цвета рдеющей герани...
Ах, как горько и как рано
пал боец на поле брани!

17

Давно это было, давно это было.
Немало воды утекло вдоль увала,
пропитанных терпким листом чернобыла,
суровых ветров отшумело немало.

Убийцы раскрыты. И вырваны с корнем.
Убийцы забыты. А Колино имя
ясней день за днем, год от года упорней
звучит наравне с именами живыми.

Оно стало улицей, шумной и длинной,
озерами окон прямого квартала,
цветущей сиренью, ребячьей лавиной,
Дворцом пионеров заслуженно стало.

Нет! Коля, видать, не поддался картечи.
Он смерть одолел и родился повторно,
как гордый подснежник на празднике встречи,
как утренний голос призывного горна.

Курган — Москва
1960—1961

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

Анна Денисовна	7
Выдра	15
Граница	26
Рассказ о разрушенной поэме	31
Портрет партизана (Трилогия в стихах)	35
Детство	37
Юность Александра	71
В лесах	127
Москва за нами	178
На Урале	193
Первый в мире	211
Девушка в красном	248
Красный галстук (Поэма о Коле)	252

**Сергей Александрович
Васильев**

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

в двух томах

Том 2

Редактор Н. Иванова

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректор Т. Лукьянова

Сдано в набор 30/XI-1965 г.
Подписано к печати 8/VI 1966 г.
Бумага типографская № 1
Формат 70×108¹/₃₂—9 печ. л.
12,6 усл. печ. л. 12,18 уч.-изд. л.
Тираж 45 000 экз. Заказ № 1259.
Цена 81 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Политграфкомбинат им. Я. Коласа
Комитета по печати
при Совете Министров БССР,
Минск, Красная, 23

БИБЛИОТЕКА

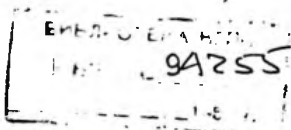
94255

2574

Сдано в набор 30/XI-1965 г.
Подписано в печать 8/VI 1966 г.
Бумага типографская № 1
Формат 70×108¹/₃₂—9 печ. л.
12,6 усл. печ. л. 12,18 уч.-изд. л.
Тираж 45 000 экз. Заказ № 1259.
Цена 81 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Комитета по печати
при Совете Министров БССР,
Минск, Красная, 23



1954